





ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УЗБЕКИСТАНА



Имя писателя Ульмаса Умарбекова широко известно читателям. В 1971 году за роман «Зеленая звезда» он удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола Узбекистана.

В предлагаемой читателям книге публикуются остросюжетные повести Ульмаса Умарбекова «Встреча у высоких снегов» и «Пустыня», в которых рассказывается о борьбе с басмачеством, о становлении Советской власти в Средней Азии.

Авторизованный перевод с узбекского
С. ШЕВЕЛЕВА

Уммас Умарбеков

Встреча
у ВЫСОКИХ
СНЕГОВ

*Повести
Рассказ*



Ташкент
Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана
«Ёш гвардия»
1988



ВСТРЕЧА У ВЫСОКИХ СНЕГОВ

I

Когда мне бывает трудно, когда я не уверен в себе и не знаю, какое принять решение, я вспоминаю его. Я задаю ему вопросы, а он, живой в моей памяти, отвечает мне. Или вдруг улыбнется краешком губ и бросит: «Поэт!» Да, в то время я писал статьи, подражал Хамзе, и как-то раз мои стихи даже были напечатаны в газете. Еще я сочинил однажды любовное послание в стихах — адресовано оно было молодой учительнице, а подписано именем моего друга, влюбленного в нее, но очень застенчивого.

И вот — сколько уж лет прошло. Поэт из меня не получился. Может, он знал еще тогда об этом и оттого так часто говорил с улыбкой — «поэт». Я не обижался, улыбался тоже. Потом я перенял эту его привычку, и теперь, когда у кого-нибудь из молодых сотрудников дело не ладится, я бросаю ему с усмешкой: «Эх ты, поэт». Они не понимают и удивляются. Пока не понимают... Я знаю — придет время, и они тоже с улыбкой скажут это оплошавшему новичку... Я хочу, чтобы было так, хотя никому не рассказываю о том, кто первый назвал меня «поэтом»... Это моя маленькая тайна, моя память о близком человеке, память молодых и горячих лет... Самого человека давно уже нет, а вот словечко — живет, осталось. Живет и дело, которому он учил меня...

Мы, семнадцатилетние, работавшие в губкоме комсомола, просто мечтали о полной опасностей и приключений жизни чекиста, в свободное время любили рассказывать друг другу удивительные истории, где героями неизменно бывали чекисты, но главное, что волновало нас и делало наши мечты осязаемо близкими, — то, что за последний год двенадцать наших товарищей ушли по решению комсомола работать в ГПУ. Значит, мы нужны — так понимали мы, — нужны наша преданность революции и решимость, наша вера в собственные силы, наши мечты, крепкие руки, острые глаза и отважные сердца.

Однажды утром второй секретарь губкома вызвал нас к себе, сразу восемь человек. Мы все догадались, о чем с нами будет говорить секретарь, и взволнованно обсуждали ожидавшиеся перемены в нашей жизни.

Правда, я хотя и мечтал, как все, о скрипучей кожанке и тяжелом маузере, все же считал себя в душе не военным, а поэтом и театралом и поэтому был немного растерян. В те дни наша театральная труппа имени Карла Маркса готовила постановку «Ферганской трагедии». Роль курбаши в ней исполнял сам Хамза. Я отдавал спектаклю все свободное время, да и в комитете комсомола занимался культпросветом; еще я преподавал в школах ликвидации неграмотности при двух клубах и депо железнодорожников.

В кабинете нашего секретаря Виталия Колосова находились кроме него два человека, одетые именно в те кожанки, что волновали наше воображение. Сам же Колосов всегда был в кожаной куртке и при оружии, только носил он предмет нашей зависти не сбоку, а на животе. Зависти — потому что из всех работников губкома у него одного был наган.

Колосов называл каждого из нас по имени — представил сидящим, а потом поднялся, уперся кулаками в стол и начал:

— Почему мы вызвали вас?.. Усилились враждебные действия против молодой Республики Советов! — Он всегда так выражался и вообще любил поговорить перед народом — ни один митинг без него не обходился; и в своем кабинете он выступал, будто с трибуны. — В Душанбе тайно состоялся курултай басмачей, в нем участвовал представитель международного империализма, враг революции Энвер-паша! Акулы империализма усиливают снабжение наших внутренних врагов оружием, деньгами и даже продуктами! Опять встревожен покой трудового народа! Участились нападения басмаческих банд на кишлаки и города, особенно в Ферганской долине! В ответ на это мы — преданная смена партии большевиков — должны считать себя мобилизованными!

Колосов налил себе воды и стал пить, а один из чекистов воспользовался паузой:

— Товарищ Колосов очень хорошо рассказал о последних событиях. Мы обращаемся к вам, ребята: в ГПУ нужны такие грамотные, проверенные люди, как вы, комсомольцы. Все ли согласны участвовать в борьбе с басмачами?

Мы в один голос ответили: да, все готовы защищать завоевания трудового народа.

— Тогда не будем медлить, дело не ждет. Начнем распределение.

Второй чекист взял лист бумаги.

— Шукуров!

Ну надо же — начали прямо с меня. Я и рта открыть не успел.

— Вас направим в Алмалык. Возражений нет? — Тон вопроса не оставлял возможности для возражений, и я растерянно молчал. — Завтра туда следует отряд милиции. Поедете с ними. Вот путевка.

Он протянул мне бумагу, и я невольно взял ее.

— Джумаев! Вас направим...

Я тихо повернулся и пошел к двери. Вот уж никак не ожидал, что участь моя решится так скоро. Прямо не знаешь — то ли радоваться, то ли огорчаться. Работа в ГПУ, конечно, дело почетное и важное, и сам сколько раз мечтал с ребятами: а вот когда мы... Но — не готов в душе, что поделаешь. И все мысли-то в последнее время были про театр да ликбез...

У двери кабинета меня догнал Колосов, положил руку на плечо:

— Не ждал? Растерялся?

Я только покачал головой и неуверенно улыбнулся.

— Не бойся, привыкнешь! Ты не хуже других, мы за тебя поручились... Ну, ни пуха... Будь здоров! — Он крепко пожал мне руку и вдруг добавил тихо и печально: — Я, брат, тоже еду...

— Куда?

— В Нанай... Убили там секретаря ячейки...

Это был третий случай за последние дни — басмачи не щадили активистов. Но в словах Колосова поразила меня особая, неприкрытая горечь. Когда я вышел из кабинета, мне сказали, что секретарем в Нанайе работала его невеста...

Да, это были не акулы империализма — обыкновенные басмачи. Я знал, что вытворяют они с девушками, перед тем как убить...

И сомнения мои остались в кабинете нашего секретаря. Театр и ликбез могут обойтись пока без меня, сейчас мое место там, где стреляют. Алмалык — что ж, пусть будет Алмалык... Работая в губкоме комсомола, я не привык сидеть на месте. Вот только что скажут родители?

Я ждал, что дома будет ужасный скандал, когда

родители узнают о моей новой работе и о завтрашнем отъезде. Особенно мама... Она просто могла не отпустить меня, пойти с жалобами и плачем в губком, в ГПУ — единственный сын, и всего семнадцать ему, и... и... Что было бы дальше, я боялся подумать. Позору не оберешься, — тут уж придется скрываться еще где-нибудь подальше Алмалыка.

Но, кажется, гроза не собралась — хорошо, что дома был отец. Женщины, правда, получили уже равные права с мужчинами, но слово отца до сих пор было в нашей семье законом, не подлежащим обсуждению, — и слава богу!

Итак, отец не возражал против моего отъезда, хотя и не обрадовался, конечно. В его согласии я видел поддержку мужчины, и еще была одна причина, связанная с обстановкой тех первых послереволюционных лет.

Отец мой вырос в интеллигентной семье, верил в силу и значение знания и часто вспоминал слова мудрого Фитрата: «Развитие каждой нации начинается с просвещения». Еще до семнадцатого года отец, по примеру Аллаера и Фитрата, собрав с помощью зажиточной родни и знакомых нужную сумму денег, снял помещение — балахану Дусимбая из Дамарыка — и открыл там школу для бедных.

Однако, к великому его огорчению, через три года после Октября прославленных ученых и мудрецов Аллаера и Фитрата обвинили в джадидизме, рядом с их именами в газетах и на собраниях стали появляться такие слова, как «ярый враг революции».

Отец боялся за свою школу, перестал вспоминать Фитрата и Аллаера и учил теперь по книгам Хамзы «Легкая литература» и «Книга для чтения». Все же, когда о просвещении народа говорили на собраниях или выступала на эту тему газета, отец нервничал и волновался — со школой была связана вся его жизнь.

Возможно, поэтому сейчас, надеясь в будущем найти во мне заступника, он промолчал и не стал возражать против моего отъезда.

А мама чуть не плакала:

— Что за комсомол такой, если он лишает меня сына! Да поразит его гнев аллаха!

— Замолчи, не смей так говорить о комсомоле! — прикрикнул отец.

— Все равно, будь он проклят!

— Хватит, тебе говорят! — Отец повернулся ко мне и сказал тоном сообщника: — Не понимает... Ты не обращай внимания. Когда надо ехать?

— Завтра.

Я чувствовал, что у отца на сердце кошки скребут, но держался он как мужчина — иначе бы мать совсем разошлась — и ничем не выказал своих сомнений и боязни.

— Это большое доверие. Будь осторожен.

Я понял: отца тревожит не только мое будущее участие в погонях и перестрелках, где жизнь моя будет в опасности, но самый факт, что его сыну, мальчишке еще, предстоит работать в ГПУ и он может сделать какую-нибудь глупость, которая покроет позором всю родню. Мол, смотри в оба — иначе из-за тебя пострадает вся семья, и школу тогда могут закрыть... Такой уж он был человек, мой отец.

Ночью я почти не спал, а когда дремал, мне виделись стычки с басмачами, перестрелки и погоня... Я совсем не боялся — но вместе с тем совсем ничего не знал о настоящей работе чекиста... Все же, раз комсомол решил направить меня в ГПУ, колебаться было по меньшей мере ребячеством. Отец прав: во всех отношениях это большое доверие. И хотя в недавнем прошлом боевые заслуги мои ограничивались участием в уличных потасовках, рассеченной губой да изорванной одеждой, я знал про себя, что не трус и не подведу в трудную минуту. Но ведь не только смелость нужна чекисту. А что еще? И есть ли это нужное во мне? Получится ли из меня настоящий чекист? С чего надо начинать? И как меня встретят, — вообще, что там за люди, в этом Алмалыке?

Чего не встретишь на дороге жизни!
Сегодня — радость и веселье,
А завтра — горе и печаль...

Эти вирши я сочинил, кажется, именно той ночью, — во всяком случае, они довольно верно передают мое тогдашнее смятение.

Мама тоже не спала. Она всю ночь пекла лепешки, жарила боорсаки¹ мне на дорогу, кого-то осыпала про-

¹ Боорсаки — шарики из теста, обжаренные в жире; могут долго сохраняться в пути.

клятиями, тихо, чтобы не разбудить нас с отцом, плакала. Потом, зайдя в комнату, увидела, что я не сплю, под села ко мне и принялась перекраивать старую овчинную шубу отца. В шубу можно было закатать двоих таких молодцов, как я,— и мама перешивала пуговицы, укорачивала рукава и не переставая ругала весь земной шар в целом, а губком комсомола, что на его поверхности,— в особенности. Я понял из ее слов, что теперь все заботы вселенной пали на мою несмышленную голову и я непременно должен буду сгинуть под ними. Чтобы этого не случилось, она сняла с моей старой детской колыбельки — бешик — бусинки от сглаза и пришила их под воротником шубы.

Я не стал возражать — иначе я рисковал оказаться в одной компании с теми недостойными, покинутыми аллахом, которые делают все, чтобы сократить ее путь на этой земле, и замышляют сотворить ужасное зло ее единственному горячо любимому сыну...

Утром, чтобы не огорчить маму, я послушно сел завтракать. Отец и мама, казалось, нарочно медлили, я же сидел как на иголках. Наконец отец благословил меня перед дорогой. Мама заплакала в голос, обняла меня и не хотела отпускать. Я не знал, как утешить ее, осторожно освободился и молча направился к воротам.

— Устроишься, сразу напиши,— сказал мне вслед отец. Я кивнул, помахал на прощание рукой и вышел на улицу.

— Стой, стой! — закричала мама.— Для кого ж я все это пекла?

Она догнала меня, отдала узелок с лепешками и борсаками, снова обняла меня и заплакала.

— Ну не надо, мама... Я же не на фронт иду...

— Да-да... — сказала мама.— Уж лучше б на фронт, только рядом, здесь... Не уезжал бы ты, а, сынок?

II

В Алмалык отправилось десять верховых, все милиционеры — в помощь тамошнему ГПУ. С ними ехал и я.

Алмалык был тогда скорее не городом — ни заводов, ни фабрик, как теперь, — а большим кишлаком в предгорьях, но народу на улицах встретилось много и

базар оказался многолюдным. Я знал со слов отца, что Алмалык стоит на пересечении старых торговых путей и связан с Ташкентом и Туркестаном с одной стороны, с Ошем, Кашгаром и далее Китаем — с другой и с Уратюбе и Кабулом — с третьей. Когда знаменитый правитель Бабур был изгнан из Самарканда, в этих местах он встретился со своими дядями и собрал силы для борьбы с Шайбани... Конечно, все это было далекое прошлое — сейчас ничто не напоминало в Алмалыке о давних походах и войнах. А о сегодняшней жизни Алмалыка я узнал сразу же по приезде: в городе было беспокойно. За окнами домиков, выстроенных из камня и глиняных катышей, рано гасили свет, в махаллях воцарялась кладбищенская тишина, и никому не ведомо было, что там происходило, в этих домиках. Не было известно и другое — какие тревожные вести принесут милиционеры наутро, — а приносили их теперь ежедневно.

Нас, приезжих, встретил начальник ГПУ Константин Иванович Зубов, плотный, лет под пятьдесят, в военном, с буденновскими усами, с решительными жестами.

— Очень хорошо! — Он поднял глаза от сопроводительной бумаги и еще раз оглядел милиционеров. — Такие джигиты нам сейчас — как воздух, ждали вас! А вы, молодой человек? — он повернулся ко мне. Я подал ему путевку губкома комсомола. Он прочел ее, посмотрел на меня, потом еще раз заглянул в путевку. Да, кажется, возраст мой и внешность его не обрадовали. Он провел пальцем по усам и сказал: — Ну что ж! Значит, так тому и быть. Посидите пока здесь, подождите. А ну, джигиты, пошли!

Зубов увел милиционеров, я остался в его кабинете один. Осмотрелся. Стол, накрытый газетами, несколько стульев. В углу, на стуле, ведро, кружка. На стене — два портрета: Ленин и Дзержинский. Ниже портретов — лозунг, написанный большими неровными буквами: «Советская власть — это власть народа. В. И. Ленин».

«Надо будет мне самому этот лозунг написать», — решил я. Мы в комитете комсомола писали такие лозунги каждый день, и у меня получалось красиво...

Так я сидел один в комнате, думал о том, что оставил в родном Ташкенте и что ждет меня здесь. Вдруг во дворе послышался топот, где-то рядом закричала женщина. Я подошел к окну: милиционеры, приехав-

шие со мной, верхом выезжали со двора, но никакой женщины с ними не было. Я вернулся на место — и снова услышал женский крик, потом плач. Что это? Что здесь происходит? И что я должен делать? Отворил дверь из кабинета в коридор — плач слышался из соседней комнаты. Допрашивают? Почему она плачет, почему кричала? Что они здесь — мучают людей? Разве мы — басмачи? У них же портрет Ленина на стене!

Сжав кулаки, я шагнул к двери, за которой все плакала женщина, — и тут в коридор с улицы вошел Зубов.

— Что, юноша, заскучал? Ничего, долго скучать не придется. — Мы вошли в его кабинет. — Проклятые, разорили Тангатапды. Не бывал там?

— Нет.

— Жалкий кишлак. Но и его не оставляют в покое.

— Басмачи?

— Кто ж еще? Как собаки плодятся! Банда курбаши Худайберды. Не знаком?

— Нет.

— Еще познакомишься. Этот нас помучает — ловок, хитер. Молодой совсем. И грамотный — в Бухаре учился. Но в руки ему лучше не попадаться — отца родного не пожалеет. Говорят, сам допрашивает, сволочь.

За стеной снова послышался плач женщины.

— А вы... жалеете людей? — спросил я.

— Это ты о ком — «вы»?

— Ну, мы... ГПУ...

Взгляд Зубова сделался жестким.

— Разве мы пытаем людей? Где ты это слышал?

Я кивнул на стену — вот, мол, непонятно разве?

Зубов помолчал, затем улыбнулся в усы и постучал кулаком в стену:

— Саидов! — Потом повернулся ко мне: — Сейчас познакомишься с этим палачом!

В дверях кабинета появился сухощавый рослый человек.

— Слушай, Джура, кого это ты там пытаешь, а?

— Я! Пытаю? — Саидов приложил ладонь к груди. — Меня, меня пытаются!

— Да ну? А то я уж и не знал, что говорить, — вот молодой человек обвиняет нас, — мол, мы мучаем людей. — Саидов глянул на меня, понял все и рассмеял-

ся.— Кстати, Джура, познакомься. Как вас зовут, юноша?

— Сабир,— ответил я, покраснев.

— Да-да, Сабир Шукуров, направлен к нам губкомом комсомола. Новый работник.

Джура подал мне руку, мы поздоровались.

— А это,— продолжал Зубов,— это Джура Саидов, гроза басмачей и вообще всякой контры. Боятся его, хотя, по-моему, бывает мягковат.

Я не понял последних слов Зубова и ждал, что он скажет еще. Но объяснять он ничего не стал, а положил мне руку на плечо и легонько подтолкнул к Саидову:

— Будете работать вместе. Джура, возьми его к себе...

Джура кивнул. Так я стал сотрудником ГПУ Алма-лыка.

Разделавшись со мной, Зубов обратился к Джуре:

— А что говорит твоя артистка?

— Опять Худайберды. Отдал их своим, всех опозорили. И певичу Уктам тоже. А плачет ее племянница. Она сосватана была — теперь, говорит, кому я нужна?

— Что будешь делать?

— А что сделаешь? — Джура пожал плечами. — Пообещал, что вернем добро; у них серьги, браслеты,— в общем, все висюльки отобрали.

— Сволочи! — не выдержал Зубов. — Ну вот что. Дай сопровождающих и отправь их.

— Конечно, отправлю — только вот племянница Уктам говорит, никуда не поедет. Говорит — кому я нужна.

— А ну, пошли. И ты Шукуров!

— Сабир,— поправил я.

— Да, Сабир, и ты. Посмотришь, как ведем допрос,— и чтобы больше об этом разговоров не было. А еще комсомол!

— Идем, Сабир,— сказал Джура. — Правда, лучше самому увидеть.

Мы перешли в соседнюю комнату — там уже сидели шесть женщин, все молодые, лишь одна была постарше, лет сорока, она обняла за плечи девушку и что-то говорила ей, а та тихо плакала. «Видно, это и есть Уктам-певича,— подумал я. Слышал о ней еще в детстве — прекрасная певича, отличная танцовщица, говорили.— А та, рядом,— ее племянница...»

— Что будем делать, Уктамхон? — спросил Зубов. Я не ошибся. Женщина, обнимавшая свою соседку, вскочила с места:

— Ах, дорогой начальник, что нам делатъ, придется ехать дальше... Судьба... Чтоб ей пропасть, этой культурной революции!.. Вот — Зумрад моя плачет все... Первый раз поехала с нами, еле упросила я ее мать отпустить девочку в культпоход, обещала безречь...

Девушка, сидевшая рядом с Уктам, все всхлипывала, не поднимая головы, лицо закрыла ладонями.

— Не плачь, сестрица, что ж теперь... — сказал ей Зубов. — Хочешь, оставайся в Ташкенте, а? Я тебе записку дам, будешь жить со сверстниками, забудешь обо всем... Не горюй — ведь вся жизнь впереди!

— Конечно, конечно, — согласилась за племянницу певица Уктам. — Правда, Зумрадджан, девочка моя, оставайся в Ташкенте, я тоже об этом думала! Мать я сама успокою. А жених — шайтан с ним! В Ташкенте еще получше найдешь! Ведь все равно не любила этого толстяка!

Зумрад, услышав такие слова, заплакала в голос и припала к теткойной груди.

— Ну вот и правильно, моя девочка, нечего тебе домой возвращаться! — Уктам обняла девушку и, приговаривая ласковые слова, целовала ее в голову. — В Ташкенте, в Ташкенте будешь жить, доченька, там тебе и дорога откроется, голосок-то у тебя соловьиный, учиться будешь, станешь певицей, почет тебе везде оказывать станут, а жениха-то себе самого лучшего, по душе найдешь! Ну не плачь, ну хватит, родная, не мучь себя, хорошо, мой ягненок?

Девушка что-то сказала сквозь слезы. Все поняли ее так: раз говорит, значит, соглашается, — и облегченно вздохнули.

— Да, — продолжал Зубов, — что у вас отобрали, какие вещи?

— Разве вернешь их теперь? — несмело спросила одна из женщин.

— Вернем обязательно, — отрезал Зубов. — Все разыщем... Шукуров!

— Сабир, — тихо сказал я.

— Да-да, Сабир... Возьми бумагу, карандаш — пиши. Говорите, Уктамхон.

Уктам начала перечислять вещи, отобранные у женщин басмачами, а я записывал...

— Десять браслетов... Два — золотые, остальные серебряные. Еще жемчужные бусы в четыре нитки — пять штук. Золотые сережки с яхонтовыми глазками — лучше б я умерла, чем надела их! От покойной матери остались, лежали бы сейчас дома!.. Так, еще два платья из парчи... Айсара, твое платье тоже из парчи было?

Одна из женщин молча кивнула. Другая не выдержала.

— Апа, скажите о моем пальто!

— Обо всем скажу, не забуду. Значит, платьев из парчи — три. Пальто из бекасама, совсем новое, она его только вытащила из сундука, в первый раз надела — сама видела... Четыре подушки пуховые... Проклятые, даже подушки забрали! Что я забыла из украшений, а? — она повернулась к женщинам.

— Кольцо, — подсказали ей.

— Да, кольцо Айнисы с двумя глазками... Ну, хватит... Остальное — мелочь, так, тряпки. Проклятые, пусть смерть их настигнет, даже тряпки забрали; всех раздели, дорогой начальник. И меня, старую...

Отец рассказывал мне об искусстве Уктам — никто лучше нее не исполнял сложных классических песен, никто не мог сравниться и в танцах. И вот, оказывается, она к тому же еще и очень красива, — тонкие черты лица, множество косичек, как черные змеи, опускаются до колен, большие, очень живые черные глаза играют. Только полнота выдавала ее годы — молодость Уктам миновала.

— Ничего, не огорчайтесь, — сказал Зубов, — вернем ваши вещи.

— О, дай аллах, чтоб сбылись твои слова, дорогой начальник! — Уктам молитвенно сложила ладони и склонила голову. — Ну, девочки мои, поехали.

Мы проводили женщин во двор, и они стали устраиваться на повозке.

— Хорошо, хоть лошадь не отобрали, проклятые, сразу узнали, что не наша, а торговца чаем Абдукадыра!

Наконец повозка тронулась в путь, ее сопровождали два конных милиционера. Вскоре кавалькада скрылась за клубами пыли.

— Слишком много обещали им,— упрекнул Джура Зубова.

— Боишься, не поймаем Худайберды?

Джура не ответил.

— Поймаем, обязательно! — заявил Зубов, как мне показалось, очень уж уверенно. Посмотрел на меня и добавил с легкой насмешкой: — Раз комсомол помогает, значит, Худайберды конец. Поймаем басмачей, Шукуров?

— Сабир,— поправил я спокойно.

— Да, Сабир.

— Скоро увидим.

— Непременно поймаем! — Зубов покрутил усы и направился к себе в комнату.

— Голодный? — спросил меня Джура.

— Есть лепешки и боорсаки.

— Пока не трогай, еще пригодятся. Сейчас пойдем на базар. Да и дело там есть.

III

Солнце сияло уже с полуденной высоты, а народу на базаре, кажется, не убавлялось. Мы шли вдоль пестрых рядов, где взгляд манили щедрые дары нашей земли; и где предлагали ярко-красные сюзане, вышитые женщинами, редко выходившими на улицу, вложившими в узор всю душу и мечты; и где торговали меховыми шапками, модными покрывалами машинной вышивки и граммофонами с огромными раструбами... Базары Азии живут сложной, но упорядоченной жизнью — и огромные городские базары, и скромные кишлачные. Какое бы изобилие товаров ни выплеснул базар тебе навстречу, ты всегда знаешь: нужную вещь можно найти в определенном месте, и ищущий тюбетейку не зайдет в ряд, где продают чапаны.

Да, кажется, на Алмалыкском базаре можно было приобрести все, что угодно,— иметь бы деньги. Но денег у людей, видно, не было, поэтому многие не покупали вещь, а выменивали ее на другую. При мне за пару сапог отдали четырех баранов...

В ряду, которым мы шли, продавали тюбетейки. Я на ходу разглядывал их и вдруг заметил на руках женщины, скрывавшей лицо за белым платком, серебряные

браслеты. Я дотронулся до плеча Джуры и кивком указал на женщину. Он глянул и засмеялся:

— Басмачей за дураков считаешь? Так они и понесут добычу на базар! Нет, брат, те браслеты уже пропали — ищи или в Кабуле, или в Стамбуле.

— А что же тогда Зубов?..

— Зубов правильно сказал. Вот поймаем Худайберды... Ну-ка, заглянем сюда.

Мы выбрались из тесноты рядов, пошли к чайхане, что находилась у хауза, но, не доходя до нее, Джура вдруг остановился подле пышноусого сапожника, сидевшего перед колодкой на низеньком стульчике у забора.

— А, Натанбай, опять на базар вышел?

— Ассалам алейкум, товарищ начальник! — сапожник неожиданно ловко поднялся, приложил руки к груди. — Здоровы ли? Добро пожаловать, садитесь! — он вытер кусочком бархата стул и пододвинул его к Джуре. — Это младший брат? — он кивком указал на меня. — Очень похож на вас, товарищ начальник.

Джура не сел, продолжал спрашивать:

— Что это тебя не было видно, Натан?

— Э-э-э, товарищ начальник, — сапожник покачал головой, — как не видно, по делам ходим... Революция нам счастье дала: еврей, ты тоже человек, сказала, свободный человек, — вот и ходим за хлебом насущным... Пятеро детей у меня, знает, товарищ начальник, все есть просят — как не ходить за хлебом? А ваше как здоровье, товарищ начальник, не было вас несколько дней, не заболели?

— В Тангатапды ездил, — объяснил Джура. — Работа, понимаешь, Натан...

— Да-да-да-да, у вас тоже работа, товарищ начальник, трудная работа... — сапожник сочувственно вздохнул. — Врагов кругом много, сегодня работаешь, все спокойно, а завтра где душа твоя будет летать?

— А что ты там делал, Натан, а?

— Я? В Тангатапды? — сапожник высоко поднял брови, округлил глаза.

— Видел тебя.

— Зачем смеетесь, товарищ начальник! Нехорошо, я ведь тоже человек. Что мне делать в Тангатапды? В Ахангаране был, кожи привез, не смейтесь над бедным евреем. Сам болен, жена больна, пятеро детей кушать просят. Революция нам счастье дала...

— Когда видел Ураза, Натан?

— Ай, товарищ начальник! — Натан развел руками и улыбнулся. — Все видите, все знаете! Ровно месяц прошел, как видел его, две кожи мне принес, я купил — аллах надо мной! — деньги отдал...

— Не лги, Натан.

— Товарищ начальник, ай-яй-яй, я тоже человек, почему — лгу?

— Три дня назад тебя видели с Уразом.

— Зачем мучаете, товарищ начальник! — На глаза сапожника навернулись слезы. — Революция нам счастье дала... Дом мой, вы знаете, раньше был у базара, теперь живу напротив ГПУ. Пусть аллах простит оговорившего меня!

— Ну ладно, видно, я ошибся, — согласился Джура и, взглянув исподлобья: — Может, это был другой человек, правда, Натан?

— Истина говорит вашими устами, товарищ начальник! — сапожник заметно оживился. — Человек похож на человека, все мы одинаковы, все сыны Адама... Конечно, ошиблись, товарищ начальник!

— Сколько взял с него за сапоги?

Натан побледнел.

— Товарищ начальник, Джура-ака... Я еще... не брал я...

— Когда Ураз придет?

— Завтра... Завтра ночью... товарищ начальник! — сапожник прижал руки к груди, склонился к Джуре и хотел было еще что-то сказать, но тот не дал:

— Я только это хотел узнать...

С этими словами Джура двинулся дальше.

Я ничего не понял из услышанного разговора. Кто такой Ураз? Какое отношение имеет к хитрому сапожнику? Хотел было спросить Джуру, но он уже подошел к чайхане, а я был так голоден, что отложил ради обеда все свои вопросы.

Обедали мы дыней, хлебом и чаем — в общем, небогато. Потом вернулись в ГПУ.

И там я спросил:

— Кто такой Ураз?

— Старый мой знакомый... Умен и смел, но сбился с пути, пристал к басмачам...

Вот что рассказал мне Джура.

Раньше Ураз был чабаном — смотрел в горах за

отарой ташкентского бая Абдукадыра, известного богача, торговца чаем. Когда в Туркестане установилась Советская власть, бай собрал свое богатство и бежал в Кабул. Пастухи бая гнали отары в сторону границы, и вот тут, у границы, Ураз исчез, но не один — прихватил несколько сот баранов. Богатым стать хотел... И сейчас еще хочет — сдать баранов государству отказывается, но и жить в открытую не может... Вот и связался с басмачами — от таких, как Натан, везет Худайберды последние новости, от самого же курбаши доставляет Натану награбленные вещи, а тот сплавляет еще дальше...

— Почему же мы не арестуем Натана? Раз вы столько о нем знаете?

— Нет оснований. Знаю, но не видел.

— Так вы же сказали о сапогах!

Я не понимал! Ведь ГПУ должно бороться со всякой контрой, а Джура не хочет арестовать врага, которого можно взять голыми руками, — значит, тот и дальше будет помогать басмачам? А может, натворит еще чего похуже? Как объяснить Джуре? А может... может, он с ними заодно? — подумал я — и сам испугался своих мыслей.

— Верно спрашиваешь, говорил я о сапогах. Видел Ураза в сапогах. Натан сшил, Ураз носит. А может, украл их у Натана, а? Докажи, что нет. Натан так бы и сказал, и нам нечего ему ответить... Натан дал важные сведения, ценные. Если поймаем Ураза, многое узнаем... Тогда и о Натане подумать можно. Как говорю — верно?

Я пожал плечами: трудно сказать...

— Подумай еще... За что арестовывать сейчас Натана? За связь с басмачами? Тогда мы должны арестовать в кишлаке всех, к кому заходили басмачи... И певец тех не должны были отпускать — вдруг тоже на басмачей работают? Нельзя таким подозрительным быть. Натан — трус, значит, ты понимать должен: мы ему скажем — сделает, басмачи скажут — тоже сделает. Все сделает, сам слышал — пять человек детей, шестая жена, все кушать просят... — Джура улыбнулся, положил мне руку на плечо: — С ними жить надо вместе, Сабир... Натана сажать не надо, пусть помогает нам — вот что надо. Со временем может стать нашим человеком. А посадил — ему плохо, жене, детишкам плохо, и нам нехорошо — кто об Уразе скажет?

... В комнату вошел Зубов.
— Составь протокол по тангатапдинскому делу, прокурор просит.
— Составим... Слушай, Костя, кажется, Ураз попался...
— Да ну?
— Натан сказал. Завтра Ураз к нему собирается.
— Ай да сапожник твой, хорош!
— Хорошо-то хорошо, да трусит больно, дрожит, как овечий хвост. Будешь возле базара, похвали, подбодри его, ладно?
— Это можно...— Зубов пошел было, но задержался в дверях:— Кого возьмешь?
Джура кивнул на меня.
— Шукуров...— Зубов задумчиво теревил ус.
Я не привык, чтобы ко мне обращались по фамилии, и снова напомнил:
— Сабир.
— Да, Сабир,— подтвердил Зубов.— Сабир Шукуров... Хорошо. Только будь осторожен — в первый раз идет.
— Постараюсь,— сказал Джура.
Зубов вышел.
Я был ужасно рад — вот она, начинается настоящая, полная приключений жизнь! — но старался казаться невозмутимым и сдержанным: еще подумают, что мальчишка.

IV

В этот первый день мы работали до полуночи: составили, как обещали Зубову, протокол тангатапдинского дела. Джура диктовал, я писал. Так у нас и повелось,— правда, иногда он и сам писал протоколы, но, видно, находил, что мой почерк лучше,— и оформление документов легло на мои плечи.

Вот что случилось в Тангатапды.

Басмачи налетели под вечер, согнали всех — мужчин, женщин, стариков, старух, детей — на площадь. А чтобы не сказали о них люди — мол, совсем озверели, проклятые аллахом,— вынесли из домов и колыбели-бешик с грудными детьми, отдали детей матерям — пусть кормят, если нужно... Потом снова пошли по домам, брали лучшие вещи и грузили на коней... И угнали весь скот;

корову, что не могла ходить, тут же и зарезали, взяли с собой тушу... Увели с собой двух девушек и восемь молодых джигитов...

В Алмалык весть о нападении пришла утром на следующий день. Джура с группой милиционеров тут же отправился в путь, и в полдень они въехали в кишлак. Люди все сидели на площади. Увидели милиционеров — и заплакали женщины, закричали дети и еще раз прокляли бандитов мужчины... Покидая кишлак, басмачи выстрелили для острастки в воздух и приказали: всем сидеть, не двигаться с места до их возвращения или еще лучше — подождать, пока милиция глаза протрет... Посмеялись и уехали — увезли добро, угнали скот, увели людей...

Выяснилось — наведались джигиты курбаши Худайберды.

— Из всех басмачей они самые жестокие. Любят издеваться — просто так, без смысла, для развлечения. Не щадят никого. Говорят, Худайберды мстит каждому встречному и поперечному, всем, кто не с ним, кто признает власть, — мстит за утраченное богатство и за отца — никого не жалеет.

— А отец что, жив?

— Будто бы недавно умер он, Махкамбай, старый хищник... А правда или нет — не знаю. Может, прячется...

И вот вечером того дня Джура видел в Тангатапды Ураза, но издали. А рядом с ним — человека, обликом напоминавшего Натана. Зачем приходил Ураз, выяснить не удалось. Следил, не будет ли за басмачами погони, наверное...

— Вороной Ураза — знаешь, он как аэроплан, если Ураз на вороном — все, не поймаешь его, уйдет от любой погони. В тот день под ним был вороной, я и виду не подал, что заметил его... Но теперь — не убежит, — зачем-то понизив голос, уверенно закончил Джура. — Завтра поедем к нему в гости...

В этот первый свой день в Алмалыке я остался ночевать у Джуры. Большой дом с террасой и обширным двором, конфискованный у богатого торговца хлопком, был передан местной милиции, и в одной из комнат этого дома жил Джура. Комната была пустая: железная кровать в углу — и больше ничего. Джура постелил себе на полу, мне показал на кровать: ложись здесь.

Я запротестовал было, но Джура и слушать не стал.

— Ложись, ложись. Здесь жить, здесь спать будешь. Завтра еще одну кровать принесем.

Мы улеглись. Джура, кажется, сразу же заснул, а я ворочался, ворочался, потом поднялся, подошел к окну, открыл. В темной осенней ночи перемигивались высоко в небе редкие звезды, тихо и безлюдно было, городок спал мертвым сном.

Я обернулся, посмотрел на Джуру — лицо его было спокойным, как вся эта тихая осенняя ночь; я разглядел, казалось, даже сетку морщинок — след прожитых лет, но потом понял, что глаза обманывают меня и дорисовывают по памяти дневных впечатлений черты лица, к которому успел привыкнуть. Тишина, спокойствие ночи передались и мне, новый город, непонятная еще работа не пугали больше. И хотя будущее мое было пока неясно и черты его таяли в наступающем времени, как образы дня в ночи, как морщины на лице Джуры в темноте комнаты, все же душа моя была спокойна. Все, что делается и сделано, — все правильно, и я на месте.

Так началась моя новая, самостоятельная и вовсе не спокойная жизнь. А оборваться она могла на следующий же день.

Проснулся я оттого, что кто-то тронул меня за плечо. Я открыл глаза, но не сразу сообразил, где я и что со мной. Наконец узнал Джуру и окончательно страхнул остатки сна.

— Пора, пора, время не ждет. Подымайся.

Я вскочил, быстро оделся, вышел во двор ополоснуть лицо. Солнце уже показалось, но воздух хранил еще прохладу ночи.

— Позавтракаем в дороге, а сейчас — едем. Возьмешь эту лошадь.

Я увидел заслуженную клячу, привязанную посреди двора к стволу груши. — она казалась такой же сонной, как и я, мне захотелось спросить Джуру — не упадет ли она, если отвязать ее от дерева.

Джура глянул на меня, на клячу и улыбнулся: наверное, мысли мои были написаны у меня на лице.

— Старая, да, бегать не может. Но если сегодня бу-

дет нам удача, получишь хорошего копя. Все, поехали... Не забудь свои боорсаки.

Я сбегал за узелком с домашними припасами, что дала в дорогу мама, и мы выехали со двора.

Да, Джура сказал правду: лошадь подо мной не была призовым скакуном и вдобавок ко всему прихрамывала,— кажется одной подковы не было...

Когда я очень уж отставал от Джуры, я подбадривал свою клячу прутиком, она кое-как нагоняла жеребца Джуры, но потом опять отставала.

— Вы что же, всех новичков так испытываете? — не выдержал я наконец.

Джура засмеялся, подождал меня.

— И за эту кобылу спасибо скажи, еле нашел, а то пешком пришлось бы тебе идти! — и снова пустил жеребца вперед, а я снова отставал и нагонял, отставал, нагонял.

К полудню мы добрались до заброшенного кишлака. Печальное это было зрелище! Крыши домов провалились, дувалы разворочены, земля усеяна камнями... А кругом — тихая степь. Ни людей, ни животных.

Джура остановил жеребца, спешил.

— Что за кишлак, почему он брошен, Джура-ака? — спросил я, слезая с лошади.

— Это место люди называют Селкельди — значит «сель прошел». Каждый год беда приходит — ну прямо басмачи, даже хуже. Все губит сель — и людей, кто не успеет спастись, и скот, и дома, и добро... Так год назад государство дало людям землю под Алмалыком, и все туда переехали, всем кишлаком...

— А разве нельзя было здесь построить плотину, защититься от селя?

— Э-э, брат, хорошо ты говоришь, да силы где взять плотину строить? Сейчас людям легче переехать, чем бороться с селем... Да, земли свободной у нас много, а сил пока что мало. Но вот увидишь: будем живы — такие кишлаки здесь построим, такие сады будут цвести на этом месте! И люди возвратятся сюда, к могилам предков... А пока что... пока что посмотри-ка, не найдется ли чего в твоём узелке?

Я развязал узелок: от собранных мамой мне в дорогу припасов оставалось немного — пол-лепешки да с десяток боорсаков.

Мы устроились прямо на земле и начали завтракать.

— Смотри-ка, мать, оказывается, очень любит тебя! — шутливо заметил Джура, отламывая себе кусок лепешки.

— Как вы это узнали? — засмеялся я.

— Лепешка-то на сметане... Давно не пробовал таких вкусных. А ты говоришь — как узнал...

Я пододвинул куски лепешки поближе к Джуре, а сам принялся за боорсаки.

— Так ты, значит, из Ташкента?

— Да, а мой отец — учитель, школу открыл. Может, вы слышали, если бывали в Ташкенте, — его зовут Миршукур-домулла.

— Нет, не пришлось услышать о нем... А я сам из Тойтюбе. Потом жил в Шагози, тут недалеко, — Джура показал кивком, — прямо под той горой. Не проезжал?

— Нет, я впервые в этих местах.

— Прогоним Худайберды — побываешь и там. А сейчас опасно, гнездо басмачей недалеко, часто наведываются... Ну как, отдохнул?

— Поехали.

Мы снова тронулись в путь, постепенно поднимаясь все выше и выше. Налетевший ветерок заставил меня зябко поежиться.

— Во-он впереди возвышенность Бештерак, — показал Джура. — Поднимемся туда, спустимся, а там и кишлак рядом. Кишлак Ураза.

— А не обманул нас Натан, а?

— Зачем же ему врать, Натану? Завтра вернемся, увидим его. Бежать ему некуда, семья у него, сам слышал. А вот Ураз может и не захватить домой, правда, — но тут Натан не виноват, он думает, мы Ураза в Алма-лыке ждть будем.

— Но разве можно доверяться такому? Надо было взять его с собой...

— Зачем? Чтоб видел, как мы ловим Ураза? И потом рассказывал кому надо и не надо?

— Наверное, не повредило бы, — заметил я.

— Как раз бы повредило, — спокойно объяснил Джура. — Ты же слышал, что говорил Натан — он тоже человек, ему жить надо, кормить семью. А возьмем мы его с собой — Ураз скажет: Натан — предатель...

— Так мы же все равно посадим Ураза! Пусть думает и говорит что хочет.

— Это не так просто. Ураз ведь был простым пастухом, с басмачами недавно и держится сам по себе. Стоит ли сразу сажать? Подумать надо...

Я не верил своим ушам. Как ни старался — не мог понять слов Джуры. Натана сажать нельзя. И Ураза, оказывается, тоже? Зачем же мы отправились ловить его? Чтобы тут же и отпустить? Я не понимал, удивлялся, но не решался расспрашивать дальше.

Да, я знал, как и все мои товарищи, много удивительных историй о чекистах и по-своему представлял их работу — как постоянную схватку с контрой не на жизнь, а на смерть, как вечную опасность. Но то, что говорил и собирался сделать Джура, было уж совсем ни на что не похоже. Я не знал, что и думать.

Пока мы добрались до кишлака Ураза, сгустились сумерки. Кишлак назывался, как и возвышенность, Бештерак, то есть «пять тополей», но в темноте я не различал ни одного тополя; за низкими дувалами чернели какие-то деревья, не то урючины, не то орешины — не разобрать было, но тополей я так и не увидел, и это странно занимало мои мысли — устал, что ли, думать об Уразе и басмачах?

Мы въехали в темный кишлак, проехали еще немного по узенькой улочке, и Джура остановился у дувала возле кокандской арбы, стоявшей с поднятыми оглоблями, спешил, привязал коня к колесу арбы; я сделал то же самое.

Кругом было темно и тихо, даже собак не слышать. Джура тронул меня за плечо:

— Пошли.

Мы перебрались по доске через небольшой арык, вошли в чей-то двор — во тьме я различал только деревья да кусты; Джура обернулся ко мне, я увидел рядом блеск его глаз и спросил:

— Здесь?

— Тихо... — шепнул Джура. — Тихо, его дом близко.

Мы прошли в соседний двор, в темноте и тишине кишлак казался неживым. «Селкельди, — вспомнил я. — Сель прошел». И тут прямо передо мной коротко заржала лошадь, фыркнула, и снова все замерло.

— Хорошо, вовремя пришли, — шепнул мне на ухо Джура. — Намаз совершает.

Кто совершает намаз, где совершает и почему это хорошо — ничего не вижу, не понимаю.

Джура взял меня за плечо, повернул, и мы двинулись вдоль низкого дувала. Темнота и тишь обострили мое зрение и слух, я ожидал появления кого-то притаившегося, ожидал нападения из темноты, и вдруг будто что-то толкнуло меня — слева я заметил движение на земле, будто ползет кто-то. Замерев, я пригляделся внимательно и понял — это была тень человека. И я увидел, откуда падает на землю эта тень.

Перед нами была калитка. Джура без скрипа отворил ее, мы вошли во двор, приблизились к дому. В окошке помаргивал огонек; человек на моленном коврике не мог увидеть нас — он сидел спиной к нам и разговаривал с богом.

Джура кивком указал мне на человека, и мы на цыпочках, двинулись к двери.

Сердце мое бешено колотилось, из-за его стука я не слышал наших осторожных шагов. Не услышал их и Ураз — ни когда мы тихонько вошли в комнату, ни когда Джура словно тень скользнул ближе к моленному коврику и поднял с пола маузер. После этого Джура вернулся к двери и сел, скрестив ноги, — не стал мешать Уразу закончить намаз. Я остался стоять — боялся шелохнуться. Время остановилось, и единственное, что напоминало о жизни, было помаргивание фитиля в коптилке. Тогда оживала тень Ураза.

Наконец Ураз дочитал молитву, повернулся налево, выдохнул: «Суф» — и замер: увидел нас. И что маузера нет под рукой — тоже увидел. Он не пошевелился и не сказал ничего, молчали и мы с Джурой. Только расширились глаза и как-то помертвело, пустым стало обросшее густыми усами и бородой лицо, словно жизнь ушла с него, сжалась где-то внутри Уразова тела... Потом я увидел, что губы Ураза шевельнулись: он что-то шептал. И будто мы для него исчезли, сдуло нас слово, обращенное к аллаху, и — обернулся направо и еще раз выдохнул: «Суф» — и, завершая намаз, провел по лицу ладонями.

И еще какое-то время Ураз сидел неподвижно, а потом выдавил зло:

— Съел-таки меня, милиция!

— Нет, — возразил Джура. — Не я, ты сам съел свою жизнь.

— Сейчас уведешь?

— Больше некого ждать

— Верно, знаешь,— согласился Ураз.— Тогда надо попрощаться с семьей.

— Как хочешь,— сказал Джура,— только ни слова о том, кто мы. Они не должны знать, что ты арестован. Приехали по делу, понятно? Бежать не советую — ты знаешь, как я стреляю.

— Что ж в Тангатапды — промахнуться боялся?

— Коня твоего пожалел.

— Да, за коня сам Худайберды сто баранов давал — шутник!

В комнату неслышно вошла женщина — одной рукой прижимала к груди ребенка, в другой держала блюдо с пловом. Увидев нас, замерла, испуганно посмотрела на Ураза,— взглядом спросила, какие распоряжения будут.

— Плов в чашку положи, я еду,— сказал Ураз жене и глянул на Джуру, тот кивнул.— Да поживее!

Женщина исчезла неслышно, как и появилась.

Джура кивком показал Уразу на дверь — пошли, мол. Мы вышли во двор — Джура, Ураз и за ним я.

Женщина уже протягивала мужу мисочку с пловом, завернутую в румол — поясной платок. Склонив голову, она спросила еле слышно:

— Когда ждать вас?

— Про то один аллах ведает,— сумрачно бросил Ураз и добавил еще, но уже мягче:— Береги сына.

Мы вышли из кишлака; я вел в поводу свою клячу и жеребца Ураза.

На дороге Джура подал поводья моей лошади Уразу:

— Садись... На этой далеко не уйдешь.

Ураз выругался, но поводья принял.

Потом Джура похвалил меня:

— Везучий ты, парень, смотри, какого коня получаешь...— Вороной Ураза нетерпеливо бил копытом.— Однако садиться погоди,— пока Ураза провожаем, я сам на его жеребце поеду...

Джура с Уразом неторопливо двинулись к Алмалыку, я держался чуть позади и слушал их разговоры. Напряжение охоты еще не оставило меня,— наверное, оттого, что не было ему нормального выхода,— погони и борьбы. Честно говоря, я никогда не думал, что поймать басмача так просто,— ведь мы взяли Ураза без труда, без выстрела, можно сказать, голыми руками. Что

это — везение, случайность? Тогда я еще не знал ответа...

— Не надо было мне приезжать сегодня, — как бы отвечая на мои немые вопросы, пожаловался Джуре Ураз. — И не хотел ведь — плохой сон видел, будто сын мой маленький умер.

— Значит, долгая жизнь ему суждена, так поверье обещает.

— Что прячешься за поверье, милиция, говори уж прямо: отсчитает ему аллах от моей жизни! — Ураз хотнул коротко и зло, и я подумал, все же надеется убежать — и потрогал маузер у себя на боку... — А ты, однако, ловкий, милиция, как узнал о том, что приеду, скажи, а? Молчишь... Слышал, слышал о тебе...

— Ничего, ты не хуже. Три раза удирал, я не мог догнать...

— Спасибо. И сегодня ушел бы — да задержался дома... Как думаешь, вас дожидался, а? — Ураз снова хотнул и переменял тон на угрожающий: — Но помни, милиция, услышит обо мне Худайберды — за меня одного вас тысячи головы положат!

— Неужто так страшен он, твой хозяин?

— Ты не знаешь, его, милиция, настоящий дракон, кого хочешь проглотит! Ни тебя, ни меня не пожалеет, если понадобится ему... Да... Только не называй его, милиция, хозяином моим. Сам знаешь, я другой. Я сам себе хозяин. На коня моего можешь сесть — на меня узду не накинешь!

— Узда тебе не нужна. У нас — каждый себе хозяин.

— У кого это — у вас?

— У тех, кто признает власть большевиков.

— Ах вот ты о чем? Не пустословь, зря стараешься, милиция.

— Никогда не пустословлю — сам убедишься. А вот басмач — как может быть хозяином над собой? Человек может быть хозяином. Басмач — разве человек, если может убивать, грабить, а, Ураз?

— Аллах накажет за такие слова, милиция! — сердито отвечал Ураз. — Басмачи не один к одному, разные бывают. Худайберды — бай, а мои и отец и дед пасли стада, я и сам за отарой ходил!

— Если ты чабан — почему с баем против нас, почему кишлаки грабишь?

— Это вы опоганили наши кишлаки, растоптали ре-

лигию. Вами правят гяуры, аллах отступился от вас, проклял...

— Не свои слова говоришь, чабан. Вот это — пусто-словие... Большевики не признают имамов, но ты слышал, чтобы мы помешали мусульманину совершать намаз? Тебе ведь не помешали, Ураз, подождали, пока кончишь. Разве не так? Ходи себе в мечеть, молись на здоровье,— но чужого не трогай, вот наш закон. Чтобы ни богатых, ни бедных, все равны — вот чего мы хотим. Знаю, ты боишься — в горах спрятав краденых овец. Все равно отберем, Ураз,— если сам не отдашь. Отберем и отдадим в кишлаки, чабанам, что вы ограбили, в Тангатапды отдадим, беднякам, каким ты был раньше. Вот так, Ураз. А насчет веры — не свои слова говоришь. Это твой курбаши тебя учит, да?

— Курбаши делом занят,— уже спокойно ответил Ураз.— Так говорит Махкамбай.

— Ого! Жив, значит, Махкамбай, отец Худайберды? А я слышал, будто умер он...

— Какая плохая разведка твоя, милиция! И как узнал, что домой заеду,— до сих пор не пойму! Не-ет! Махкамбай жив... И почему ты говоришь, милиция, что он отец Худайберды? Курбаши — не сын, приёмный Махкамбая. Болтают, будто Худайберды — сын Аппанбая.

— Какого Аппанбая? Ты не ошибаешься, Ураз? — торопливо переспросил Джура, и я услышал тревогу в его голосе и невольно оглянулся. Но никого и ничего не было видно в ночи, и только цокот копыт по дороге нарушал тишину. За разговорами мы перевалили Бештерак и теперь спускались к развалинам Селкельди; по-прежнему Джура держался рядом с Уразом, а я — чуть поотстав.

— Откуда же можно знать точно, кто чей сын? Эх, милиция... Был такой Аппанбай, жил в Тойтюбе. Давно, лет двадцать уже минуло, ушел Аппанбай в Мекку и не вернулся... Говорят, умер по пути к святым местам. И будто бы Худайберды — его сын, только родился уже после отъезда отца, вскоре. А когда еще ребенком был несмышленным, года через два или три, Намаз-вор разграбил земли Аппанбая, сжег там все, а самого Худайберды и мать его забрал с собой, увез в Шагози. Может, мстил за что-то Аппанбая, а может, выкупа ждал. И дождался: Махкамбай, он глава соседнего рода, дал большой выкуп и забрал к себе наследника земель Ап-

панбая и воспитал его. Может, он родственник Аппанбаю или друг — точно не скажу...

— Нет, не может того быть, ошибаешься ты, — возразил Джура. — Я знаю точно: Аппанбай ушел в хадж через год после смерти жены.

— Ну, может, младшая жена была или просто женщина, как теперь узнать? Все же кто-то родил Худайберды — правда, милиция? Уж это я знаю точно, ты не спорь... — засмеялся Ураз. — Слушай, а почему интересуешься? Может, и ты из рода Аппанбая? Лицом на Худайберды похож, правда! И земли были бы твои, а, милиция? И стада, деньги!

— Замолчи! — сердито оборвал его Джура. — Не говори пустое. Вспомни лучше — от кого слышал эту историю?

— Откуда помнить? Уши есть, вот и слышат, что кругом болтают. Но такое говорил и сам Махкамбай!

— А кто может знать точно?

— Время прошло, милиция... Намаз-вор сжег тогда весь кишлак, кто уцелел — разбежались, не осталось никого из людей Аппанбая, пусть земля будет пухом... Что за месть была у Намаза — не знаю...

— А мать Худайберды, она жива?

— Ой, милиция, как торопишься допрашивать? Боишься, сбегу по дороге, да? Не знаю я о матери его, откуда мне знать... Одни говорили, что умерла, другие — будто Намаз-вор убил ее... Не знаю...

Я слушал разговор Джуры с басмачом, мирный и почти дружеский, и удивлялся: зачем Джуре-ака история мертвого бая, чем интересно прошлое курбаши? Может, и его, проклятого Худайберды, не надо будет сажать, когда поймаем, а? Я видел, что Джура-ака почему-то сильно встревожен и взволнован, что забыл он и о дороге, и обо мне, а главное, о том, что Ураз может попытаться бежать. Вдруг нападет на нас? Я ощущал непривычную тяжесть маузера на боку и прикидывал, как быть и что делать, если Ураз бросится на Джуру. Уж очень близко держался к нему! Выбьет из седла, и вот — на своем коне, и поминай как звали!

Но Ураз вел себя мирно. Если и не был увлечен разговором, как Джура, то все же говорил с ним не как с врагом, скорее как со старым знакомым — давно не виделись, а теперь вот встретились.

— Откуда знаешь Аппанбая, милиция?

— Батрачил у него... Он и в хадж брал меня с собой.

— Да ну, ты и хадж совершил, оказывается? Где же твоя зеленая чалма?

— Нету ее... Не дошел я до Мекки, вернулся с полдороги.

— Слушай, может, это ты убил Аппанбая?

— Ты в своем уме, а, Ураз? Да я в то время бая отцом называл, благодетелем считал. Нет, напали курды, я один остался в живых, случайно. Но Аппанбай выехал в хадж после годовщины смерти жены, я точно помню. Худайберды ему не сын.

— Не знаю, милиция. Рассказал тебе, что слышал. Может, кто другой знает больше. Будешь в Шагози — найди аксакала Саксанбая, он самый старый в кишлаке. Спроси у него.

Разговор прервался. И снова только цокот копыт по дороге и напряженная тишина вокруг.

Мы одолели уже больше половины пути — впереди показались развалины Селкельди.

— Так хочешь узнать, кто мать Худайберды? — будто что-то вспомнив, спросил вдруг Ураз.

— Ну? — Джура быстро повернулся к нему.

— А ты у него самого, у Худайберды, спроси! Джура засмеялся облегченно.

— А что ж... Когда поймает — обязательно спрошу!

— Нет, милиция, не поймает его. Или сбежит, или тебе ребра своим кинжалом пощекочет... Лучше сейчас спроси, не откладывая.

— Поиздеваться хочешь надо мной, Ураз, да?

— Нет, зачем: слово даю, — можешь спросить. Через неделю свадьба его, женится Худайберды. Пойди на свадьбу и спроси. Хочешь — поведу тебя?

Джура не ответил, повернулся к Уразу, пристально посмотрел на него — и все. Тогда Ураз сказал:

— Зря обижаешься, милиция. Я не сбегу. Хотел бы уйти — зачем тогда вернулся от границы? Я ведь не дурак, знаю, что только Натан мог сказать обо мне. Басмачи недолго продержатся, я понимаю. Уходить не хочу. Что скажешь на это?

— Подумаю, — ответил Джура.

Дальше ехали молча. В Селкельди остановились, втроем съели плов, что завернула и дала с собой Уразу жена, и снова в путь.

С восходом солнца мы въехали в Алмалык.

Дверь комнаты отворилась, вошел быстрым шагом Зубов, поздоровался с нами за руку, кивком указал на Ураза — тот сидел на стуле у стены, опустив голову, — только блеснул вдруг настороженный взгляд и опять пропал.

— Это и есть Ураз? С виду — точно, басмач. Намучились с ним?

— Нет, — ответил Джура.

Зубов обратился ко мне:

— Шукуров!..

— Сабир, — вставил я.

— Да, Сабир. Что скажешь?

— То же самое, товарищ Зубов. Не сопротивлялся. Мы пришли — он намаз совершал.

Зубов сел, повернулся к Уразу:

— А ты, друг ситный, рассказывают, обещал меня повесить, а? Что же теперь делать будем?

Ураз не поднял головы, молчал.

— Глупый ты, парень! Чабан — а связался с басмачами! Что они тебе — жизнь сытную, вольную дали, в доме и семье мир и достаток? Или таких же, как ты, чабанов грабить нравится? А может, хочешь добиться возвращения бая Абдукадыра, для него овец в горах сохраняешь, а, Ураз? Да, наградил тебя аллах хорошим ростом, но пожалел наградить хорошим умом... Османов!

В комнату вошел солдат-конвойный.

— Уведи, — Зубов показал на Ураза и добавил, когда тот поднялся: — Подумай до завтра, завтра еще поговорим.

Мы все глядели на Ураза: он сник, плечи опустились, лицо посерело. Я так и не видел в нем врага и остро пожалел его: была бы моя воля — сейчас же и отпустил бы.

У двери Ураз задержался и, не оборачиваясь, буркнул:

— Милиция, миску жене верни, в хозяйстве нужна.

— Верну, не беспокойся, — сказал Джура.

Ураз вышел, за ним конвойный.

— И я пойду, — Зубов поднялся. — В Тангатапды хлеб отправляем, люди там голодают. Весь скот увели, сволочи... Обоз с охраной пойдет... А вы отыхайте, Шукуров!

Я не ответил.

— Да, Сабир,— поправил себя Зубов.

— Слушаю! — я поднялся.

— За удачное выполнение задания коня Ураза передаем тебе!

— Спасибо, товарищ Зубов!

— Только смотри — урзова жеребца знает вся округа, и наши и не наши. Заметен станешь. Не испугаешься?

— Нет.

— Молодец. Правильно,— одобрил Зубов и вышел.

— Ну что, пойдём соснем немного, Сабир,— предложил Джура.— Ты иди ложись, а я задам корм лошадям и тоже на боковую. Да, миску вот захвати, надо будет вернуть жене его...

Радужное настроение мое тут же исчезло, а осталась жалость и как бы недоумение: ведь утром сегодня, по дороге, втроем ели из этой миски плов,— а сейчас хозяин ее уже в тюрьме, и что ждет его? Я вспомнил молчаливую покорную женщину с ребенком на руках, ее тихое: «Когда ждать вас?»— и мне еще больше стало жаль Ураза. Я и не задумался о том, что подарок командира, доставивший мне столько радости,— гневной жеребец Ураза — был для него куда дороже глиняной миски. Жалость заставила меня спросить:

— Джура-ака, что будет с Уразом?

Джура ответил не сразу. Помолчав, сказал, будто размышляя вслух:

— Что будет с Уразом, решит он сам, все от него зависит.

И опять я не понял Джуру. Но почувствовал, что он тоже думает об Уразе и, значит, все должно быть по справедливости, и это успокоило меня.

Конечно, мне, комсомольцу и чекисту, вряд ли стоило жалеть басмача. Попадись мы с Джурой бандитам Худайберды, нас бы не пощадили, и, может быть, именно Ураз расстрелял бы нас. Ведь он, оказывается, обещал повесить Зубова. И почему повесить — пули, что ли, пожалел для большевика? Но все же, несмотря ни на что,— может, оттого, что мы так легко захватили Ураза и он не сопротивлялся, может, оттого, что он не держался врагом и рассказывал Джуре все, что тот хотел услышать,— во мне не было ненависти к Уразу, а

была только жалость, и я видел, что и Джура, похоже, думает так же, как я...

Когда я вошел в комнату Джуры, а теперь и мою, я увидел, что для меня поставили уже кровать у окна. Я снял сапоги, растянулся поверх одеяла, но сон не шел — перед глазами сменялись картины нашей ночной поездки. Ураз, его жена с ребенком и ее умоляющее и робкое лицо, развалины Селкельди, разговор Джуры с Уразом... Кто такой Аппанбай? А Махкамбай? Зачем Джуре прошлое курбаши Худайберды, имя его матери?

Пришел Джура, увидел, что лежу с закрытыми глазами, и сам тихонько лег — я услышал, скрипнула кровать.

... Да, конечно, Худайберды долго не продержится — если не убьют в перестрелке, так скоро поймают... Наше дело — защитить кишлаки от басмачей, дать людям возможность жить в мире и спокойствии. Зачем тогда Джуре мать курбаши?

Конечно, нелепо думать, что Джура — не наш в душе, враг. Если бы так — разве захватили бы Ураза? Или, на худой конец, мог ведь ему дать бежать, возможностей сколько хочешь по дороге было. Но нет. И Ураз все-таки говорил с ним не как со своим... А ведь что-то переменялось в Джуре, когда поймали Ураза, что-то с ним произошло, задумчивый стал — я же вижу. И сейчас вот не спит — ворочается с боку на бок. А вот и сел, нашарил спички, закурил. Едкий дым махорки поплыл по комнате, и я закашлялся.

— Разбудил тебя? Прости, не спится мне что-то.

— Да я и не спал, дремал только...

— Закурить хочешь?

— Нет.

— И правильно, рано тебе... А я прежде закладывал нас¹ под язык, да Зубов отругал. Тогда курить стал — но редко, только если устал очень. А чего не спишь?

— Да так просто... А вы?

— Хочу полежать, не думать ни о чем, а не получается, все мысль за мысль цепляется, уводят далеко... Тебе сколько лет?

— Семнадцать.

— Э-э, ребенок еще совсем. Какие у тебя заботы,

¹ Н а с — род табака.

какие думы — ты спать должен спокойно.— Джура вздохнул, помолчал.— А мне вот — сорок шестой. И нет покоя. И не было... Лежу, ворошу в памяти прошлое... Мысли такая штука, брат: даешь им власть над собой — высохнешь, живой жизни видеть не будешь. Да, а в твои годы я женат уже был... Мог бы и детей иметь — старше тебя мог сын у меня быть... Да не судил бог.

— А жена ваша... она умерла?

— Не знаю, брат, ничего не знаю о ней...— Джура снова чиркнул спичкой, затянулся.— Может, умерла, а может, и не умерла и живет где-то...

Я не спрашивал больше ничего, чувствовал — Джура не договорил, но хочет рассказать еще что-то... Он молча курил, думал — где-то далеко был в мыслях своих, потом стал продолжать:

— Я тебе говорил вчера — сам я из Тойтюбе, там и родился, и вырос там. Но родителей своих не помню...

Да, в тот день я услышал от Джуры много удивительного, его рассказ растрожил меня, заставил задуматься над тем, что казалось простым и ясным, и еще над тем, о чем раньше не думал вовсе. Наверное, именно в тот день что-то переменялось во мне, и я стал понимать понемногу ход мыслей и поступки человека, ставшего для меня старшим братом.

Я слушал историю его скитаний, уносился вместе с ним в далекие сказочные города и одновременно вглядывался в его скуластое смуглое лицо, покрытое сеткой морщин, подобно треснувшей от безводья земле, ловил взгляд печальных глаз и вбирал — что-то щемяще откликалось во мне,— слушал его голос, задумчивый и грустный, напомнивший мне звуки двухструнного танбура, вытесанного из грубого дерева. И если не умом еще мальчишеским, то сердцем я был уже с этим человеком...

А на шее у него, справа, я заметил рубец — след пули. Ошиблась она всего на палец...

— Мать, рассказывали, умерла после того, как родила меня,— продолжал Джура-ака,— а что с отцом случилось, так и не узнал я: одни говорили, будто настигли его в степи и разорвали волки, другие — что бай, обнаружив пропажу овец, в хозяйском гневе забил отца насмерть — в тот год рано пришли холода и стада в

горах гибли... Как было на самом деле — кто расскажет? И первое, что помню о детстве,— не родители, а то, как прислуживал Аппанбаю, на побегушках был, его за отца и владыку моей жизни почитал. Голодать мне не пришлось — в байском большом доме жили сытно, оставалось много, и мне, и другим слугам, и собакам. Служба такая — ни днем ни ночью покоя не знал, все бежать куда-то приходилось, и каждый надо мной был хозяин, имел власть позвать и приказать. А я был быстрым и ловким, даже среди ночи легко просыпался от малейшего шума, бежал на зов — как послушный пес, поэтому меня оставили в услуженье при доме, когда сверстники мои отправились со стадами в горы.

Почему я говорил Уразу, что умерла жена Аппанбая,— помню ее и помню, как умерла,— с неделю всего и похворала. А я уже с тебя вырос, семнадцать минуло. Да, так она была даже грамотной, хотя и злая очень... Своих детей учила сама, а я слушал и тоже понемногу ума набирался. Так научился читать и писать.

Когда она умерла, бай не взял новую жену, а эта жена на моей памяти была у него единственной, не как у других богатых людей. Стар он был уже — семь десятков минуло. А может, имущество не хотел делить, все детям оставлял... Кто его знает... Помню еще — ходил он, покривившись на левый бок: до смерти любил бай козлодрание, и сам раньше участвовал, и где-то упал с лошади, сломал себе несколько ребер... Так и остался он жить один, мой старый скособоченный бай: новой жены не взял, а после годовщины смерти старой выдал дочь замуж в Фергану, сына женил и отправил в Ташкент, слуги постепенно разбрелись кто куда, и остались в большом байском доме мы с ним вдвоем: я прислуживал ему, а он не выходил на люди и все книжки читал... Хозяйство свое большое передал сыну.

Однажды утром бай позвал меня и сказал ласковые слова:

— Джурабай, сынок. Отец твой хорошо служил мне, мать тоже. Да будет земля им пухом! И тобой я тоже доволен.— Я испугался, понял так: прогонит сейчас меня бай, а у меня ни дома, ни близких, ни денег, и не выезжал я никуда... Куда пойду, что есть буду, где голу приклонить смогу?.. Но оказалось, ошибся я: речь

бай повел о другом.— Вырос ты уже... Сколько тебе лет?

— Семнадцать, бай-ата.

— Смотри, какой молодец! — обрадовался бай: чем-то я ему угодил.— Молодец, сынок! В семнадцать я уже был отцом. Теперь и тебя хочу женить. Что скажешь на это?

Что я мог сказать, привыкший не прекословить баю? Опустил в смущении голову и молчал.

— Я так и знал, что ты согласен! — засмеялся бай.— Ну, теперь иди, занимайся своим делом, а я, когда надо будет, распоряжусь.

Через неделю мулла совершил свадебный обряд; лицо жены моей было скрыто под волосяной сеткой — чачваном, и я так и не видел ее, пока мы не остались одни в комнате, выделенной нам баем в своем доме; если бы жена моя вышла из комнаты, я не смог бы отыскать ее среди других женщин.

И вот мы — моя жена и я — сидим в разных углах и не знаем, о чем говорить.

Я сказал «жена», но на самом деле это был живой дрожащий комок под цветастым платком — ни лица, ни фигуры не разглядеть. Наконец я спросил, от смущения голос мой звучал сердито:

— Как тебя зовут?

Жена что-то прошептала, я не расслышал и переспросил, подойдя к ней ближе.

— Ортикбуш...—голосок ее звучал нежно, и я порадовался этому — нежно со мной еще никто никогда не говорил, но тут же, сообразив, что именно означает ее имя (а «ортик» значило «лишнее»), спросил обеспокоенно:

— Почему так назвали? Что на тебе — нарост какой-нибудь?

Жена задрожала в испуге, склонила голову, будто кивнула.

— Покажи,— сказал я и легонько толкнул ее в плечо.

Жена выпростала из-под платка руку, и я стал ее разглядывать: смуглая, на запястье — тонкий серебряный браслет, а у мизинца я увидел маленький бугорок — нарост величиной с фасоль. Я успокоился.

— Это, да?

Жена закивала головой.

— А я уж подумал, что у тебя два носа! — засмеялся я облегченно и несильно потянул за платок:— Сними, посмотри на тебя.

— Нет, нет! — быстро и испуганно прошептала Ортик и еще туже завернулась в платок и руку убрала.

— Что ты делаешь? — удивился я.— Боишься? Бояться чужих надо, а я ведь муж твой, Джура меня зовут.

— Я... я знаю... Только... вы бросите меня,— жалобно ответила Ортик и всхлипнула.

— Ты что, сумасшедшая, да? Почему так думаешь? И я же не байский сын, чтоб иметь четырех жен...

— Вы не знаете обо мне... Бай-ата не сказал вам... Он в хадж собирается и вас с собой берет...

Новость ошеломила меня. В хадж — значит в Мекку? Бай-ата собрался поклониться святым местам? Такая поездка могла растянуться на годы, это я понимал. И почему бай ничего не сказал мне, а Ортик знает? Но задумываться над этим я не стал, а решил, что особенного худа от такого путешествия произойти не может, наоборот, это счастье выпало мне — посетить святыне места, носить потом зеленую чалму и пользоваться уважением и почетом среди людей,— начал успокаивать жену:

— Ну и что ж такого? Отправлюсь в хадж с баем-ата, с ним и вернусь, не пропаду. Ты что — боишься, что не дождешься меня?

— Нет... Сколько скажете — буду ждать...

— Так чего же плачешь?

— Привезете из хаджа еще жену...

Я рассмеялся от души:

— Вот это сказала, ну, ты действительно сумасшедшая! Как же возьму вторую, зачем мне, если и тебя не знаю, как прокормить!

От этих слов Ортик успокоилась, перестала всхлипывать и сама подняла платок, открыла лицо. Я ахнул — такой она показалась мне красивой. Много ли я видел женских лиц, не закрытых чачваном? Сколько времени прошло с тех пор — считай сам, идет мне сорок шестой... Многое забыл, лица ее ясно не помню... Но голос и глаза — будто сейчас она рядом... Знаешь, как у газели — круглые, добрые, доверчивые, только заплаканные...

Джура-ака вздохнул и принялся сворачивать само-

крутку; потом закурил и долго молчал; а я с жадностью ждал, когда он начнет рассказывать, что было дальше.

— Всего два дня пробыли мы вместе, два дня и две ночи. А на третий собрала моя жена Ортикбуш свои узелки и отправилась на арбе в кишлак Шагози — там выделил нам Аппанбай участок земли с домом. А сам бай в тот же день выехал в Самарканд, и я сопровождал его.

Если бы аллах дал людям возможность знать наперед, если бы я хоть на секунду мог заглянуть в будущее, я забрал бы жену и бежал с ней куда глаза глядят. Но знать, что случится завтра, человеку не дано, да я и не беспокоился о том, что ждет меня и мою жену, а просто радовался путешествию. Кто же не хочет посмотреть дальние страны, а слова Мекка, Медина, Каир, Багдад звучали для меня сладкой музыкой. Бай сказал мне, что поездка займет года полтора. Ну что ж! А вернусь — и меня будет ждать свой надел земли и свой дом, хоть и жалкий, но свой, и будет ждать жена. Я был весел, а Ортик плакала. Чувствовала она, что не увидимся мы больше, или просто жаль было провожать мужа и оставаться одной — не знаю, только ревели она всю последнюю ночь. Я успокаивал ее — не помогло, уговаривал — не вышло, тогда я рассердился:

— Что я, на казнь собираюсь? Вернусь же, никуда не денусь! Глухая, ты радоваться должна — муж ходжой сделается!

— Не нужен мне ходжа, мне вы нужны!

— Хорошо, хорошо, не плачь. Землю и дом тебе оставляю, и все, что бай-ата к свадьбе подарил, — благодари аллаха!

Ортикбуш видела мою злость и не плакала и не просила больше. Утром тихо собралась и уехала, а я не сказал ей на прощание ласкового слова. До сих пор об этом жалею. Да, семнадцать мне было... Не понимал ничего...

Пробыли мы с баем в Самарканде неделю, потом отправились в Термез. Там мы встретились с друзьями Аппанбая и их слугами: друзья бая были богаты, как и он, и так же стары и остаток жизни решили посвятить угодным богу делам. Всего нас отправилось в дорогу десять человек.

С такими набитыми карманами, как у этих баев-паломников, путешествовать было легко и приятно; при-

ходилось нам ехать и на лошади, и на верблюде, а то и пешком шли, но не мучались, а в селениях богатых паломников всегда ожидали и еда, и ночлег, и лошади.

Аппанбай прочитал за свою жизнь много различных книг, считался человеком знающим и вел себя, как подобало баю ученому. Поэтому мы то и дело задерживались в пути — поклонялись могилам святых, осматривали славные своей историей города. В Кабуле, у могилы Бабура, Аппанбай сам читал Коран, а потом устроил жертвоприношение в пользу бедных и сирых мира сего. В Герате то же повторилось у могилы шейха Убайдуллы... И вот, двигаясь так неторопливо, выехав из Самарканда осенью, мы только весной достигли Каира.

Этот город даже после Дамаска и Багдада казался великим — всюду мечети, святые места, паломники, тонкие минареты наперегонки тянутся к небу... Среди арабов в белых тюбанах мы казались в своей привычной одежде пришельцами с другой стороны земли...

Недолго оставались мы в Каире — совершили намаз в мечети Хазрата Амира, у могилы Кандбея прикладывались лицами к камням лилового и розового цветов, куда ступала нога пророка Мухаммеда, и плакали, ощущая себя причастными святости места и очищаясь душой... И все остальные дни тоже прошли в молитвах и паломничествах к святым местам. Правда, молитвами больше занимались наши хозяева, бай, а мы, слуги, старались угодить им и, чуть бай кашляет, уже были на ногах. Отдыхать нам было некогда — что на родине, что в Каире, но глаза и уши были при нас, и, пока хозяева отдыхали от молитв, мы выходили на улицы города и слушали и смотрели на чужую жизнь. И знаешь, что я тебе скажу, брат, — везде она, жизнь, одинакова — что у нас была, что за морем. И там, в святых местах, бай остается баем, бедняк — бедняком. Видел я дома в золотых узорах, видел богатые мечети — минареты их держат купол неба, — но бедняка там не встретишь, не посмеет он молиться аллаху в такой мечети. Товары на базарах роскошные и тоже байские — продавцы зазывают тех, кто побогаче.

А бедняк сидит под жарким солнцем у ворот базара или на узкой улочке — проедет извозчик, его пылью обдаст, или на кладбище сидит — знаешь, в Каире много кладбищ, считай, за каждой мечетью...

И вот, побывав в Багдаде и Дамаске, Аппанбай и

его спутники двинулись наконец к Медине. Два дня караван наш шел через пески — ни единого деревца кругом, ни тени... Намучились мы... К вечеру второго дня приблизились мы к селению, заброшенному и бедному; видел Селкельди? — очень похоже. Арабы-проводники советовали остановиться здесь на ночь, — видно было, чего-то опасались. Аппанбай решил заночевать. Хозяева устроились в доме с исправной крышей, а мы, слуги, улеглись кто где в каком-то дворе.

И вот тут, в заброшенном селении в песках, и настгла нас беда, и с ночи той жизнь моя круто переменялась.

Только я задремал, слышу — выстрелы, и близко. Я вскочил, выбежал на улицу — какие-то всадники летят, стреляют на ходу. Араб, вожатый каравана нашего, бежит от них, и успел я услышать, как кричал он: «Курды, курды...» Тут меня ударило под ухом — и больше ничего не помню.

Очнулся — вижу, светает уже. Лицо, шея, рубаха на мне все в крови. Стал кричать, звать попутчиков своих — тишина, никто не отзывается. Бросили меня? Одно-го, в пустыне?

Поднялся я кое-как, на шее рана болит, голова раскалывается... Доплелся до дома, где остановились хозяева, баи наши, вошел — и в глазах у меня помутилось, повалился я снова на землю.

Когда в себя пришел, заплакал я — от страха, от бессилия, от жалости к себе заплакал. А хозяин мой Аппанбай и спутники его лежали в крови: тут же, в доме, и прикончили их бандиты... «Бай-ата!» — звал я и плакал, но никто не отозвался мне. Тогда я понял, наконец, что один-единственный остался в живых в пустом селении среди пустыни... А где-то за песками, за горами, за морями ожидал меня клочок земли в кишлаке Шагози и домик на нем, а в домике — жена моя Ортикбуш...

Страх гнал меня от мертвецов, но что делать, куда идти — я не знал. Солнце начало припекать, рана болела, я шатался от слабости... Наконец — будь что будет — я решил возвращаться назад, к селению, где остановились мы прошлой ночью, — до него был день пути по караванной дорожке.

Как я добрался до того селения — не помню, в голове звон стоял, на глазах пелена... Но вид мой, рана и окровавленная рубашка не удивили там никого, и ни-

кто мне не посочувствовал. Видно, привыкли уже к такому. Но все же дали мне умыться, накормили, напоили... Пуля, оказывается, прошла под ухом и только задела шею. Я упал, и это меня спасло...

Назавтра на двух верблюдах я и еще двое мужчин отправились к злосчастным развалинам. Похоронили моего бая, его попутчиков, и слуг, и проводников... Прочитали заупокойную молитву. И вернулись обратно...

Бандиты взяли все, ограбили нас до нитки. У меня не было с собой ни гроша. Я понимал, что надо выбираться из пустыни, добраться до города, но как, с кем? Что будет со мной, как вернуться на родину? Ведь без денег — никуда, путешествовать за тридевять земель могли только баи...

Прожил я так недолго, не зная, куда идти, и тут, на мое счастье, остановился в селении караван, направлявшийся из Медины в Багдад. Жители упростили караванбаши, и тот согласился взять меня с собой, поставив условием, что я пойду пешком и буду погонять верблюдов. За это караванбаши обещал кормить меня. Но и такому случаю я был рад.

И вот, слабый, отошавший и с побитыми ногами, пришел я в Багдад. И понял тут, что никому не нужная я букашка в огромном этом муравейнике, что никто не спросит меня, кто я и откуда, что у всех свои заботы, и если я помру с голоду, то туда мне и дорога.

Я дошел с караваном до базара, и здесь караванбаши отпустил меня. Я поклонился ему, поблагодарил — он сделал для меня, что мог.

Так я оказался на багдадском базаре. Тут мог насытиться любой глаз и истощиться даже бездонный карман, душу человеческую и то можно было бы найти — только заплати.

Что такое деньги, какое это проклятие рода человеческого — только на багдадском базаре понял я. Аппанбай ведь не платил мне деньги, только кормил да одевал кое-как. А тут узнал я, что деньги — это мать и отец, есть деньги — весь мир твой, нет денег... Видел я на базаре купцов, что, потеряв богатство, кончали с собой, не могли пережить. Видел и таких, что богатством были равны шаху. А на меня, нищего, безъязыкого, и не смотрел здесь никто — кому я был нужен! Торговые люди искали одного: удачи, денег, богатства. Деньги — вот был их пророк, базар — их Мекка. И в

этой Мекке я должен был найти себе кров и еду, если хотел выжить.

...Я шел за стариком или старухой и, когда они нагружались покупками, предлагал донести корзины до дому. Одни соглашались, другие с руганью гнали меня и, крихтя, тащили корзины сами, а я не обижался, понимал, что у этих, значит, каждая медяшка на счету.

Я пропадал на базаре, хватался за любую работу — базар был для меня и домом, и полем... Так прошел год.

Днем я успевал думать только о куске хлеба. А ночами я вспоминал родные места, жену, что удастся мне, что подвернется счастливый случай и приведет меня домой.

Дождется ли меня Ортик? А вдруг уже потеряла надежду?.. Всего два дня пробыли мы мужем и женой, и я уже с трудом вспоминал ее лицо. Может быть, и она забыла меня? А кто из бедняков откажется от молодой красивой женщины с землей и кровом? Я думал об этом, и сердце мое сжималось.

Если бы хоть нашелся человек, который понял бы, которому я мог бы рассказать о наболевшем. Только где найти его?.. Такого не было даже на багдадском базаре...

Однажды я стоял на своем обычном месте среди базарной толчеи, опоясанный веревкой, и ждал, не подвернется ли какая работа. Вдруг я услышал турецкую речь. Сердце мое встрепенулось, я ожил и стал проталкиваться, отыскивая в толпе говорившего на понятном мне языке. Оказалось — по-турецки разговаривали двое, богато одетые, в европейских костюмах — молодой и пожилой. Они выбрались из базарной мешанины и направились к ожидавшему их фаэтону. Я бросился следом, и, когда пожилой собрался подняться в фаэтон, я подскочил и помог ему.

— Спасибо! — поблагодарил он, опустившись на сиденье, посмотрел на меня и начал рыться в кармане.

— Нет, нет, ага, мне не нужны деньги... Умоляю вас, увезите меня, ага...

— Увезти тебя? Куда? — поразился молодой.

— Все равно куда... Я погибаю здесь, случай занес меня сюда... Родина моя далеко, я нищий здесь и чужой...

Молодой посмеялся моим словам, а пожилой заметил поучающе:

— В этом мире все случайно, и все мы чужие... И все погибнем... А родина моя — тоже далеко... Подумай, на что жалуешься, незнакомец! Но скажи, странный человек, кто же ты, почему знаешь мой язык? Ты турок?

Я сбивчиво и торопливо стал рассказывать — как совершали мы с господином хадж, как напали на нас разбойники и я один волей аллаха остался в живых.

Турки переглянулись.

Что-то, наверное, было в моих словах такое, от чего молодой не улыбался больше, а пожилой качал головой и вздыхал сочувственно. Я понял, что мне поверили.

— Ага, пусть буду рабом вашим — только спасите, увезите меня отсюда! — молил я, схватив руку старшего турка. Он что-то тихо сказал спутнику, видно было — распорядился, и тот склонил перед ним голову. Потом старший обратился ко мне:

— Твои слова коснулись моего сердца, человек. Утром приходи в порт, найди контору Искандербея, — он посмотрел на молодого, и тот снова склонил голову.

В счастливом тумане я смотрел вслед коляске, увозившей богатых турок, а может быть, это не туман, а слезы радости застилали мне глаза.

Назавтра я отыскал в порту нужную мне контору; пожилой турок оказался богатым коммерсантом, свои товары он отправлял на пароходах в дальние страны. Меня посадили на корабль — и так началась вторая полоса моих скитаний. Через день мы благополучно прибыли в Стамбул. И там, в Стамбуле, я прожил двадцать один год.

Какими только работами я не занимался, чего не рассмотрелся... Наверное, единственное, чего я не видел в Стамбуле, — так это денег, с которыми можно было бы пуститься в дальнюю дорогу к родному кишлаку, зная, что не помрешь в пути с голоду или не застрянешь в самом начале в поисках заработка и куска лепешки...

Я снял угол за Кок-мечетью, жил там, у меня появились друзья — такие же бедняки, как и я: арбакеш, разносчик писем, продавец газет... С ними я отдыхал душой, мы делились друг с другом куском хлеба, и от них же, от товарищей моих по нищете, я узнавал, что творится в городе и в мире... Когда Алибей, торговав-

ший газетами, видел в них известия из России, а тем более из Туркестана, он спешил ко мне и читал мне вслух. Тоска по родине иссушала меня, я с волнением ловил любую новость оттуда — хорошую ли, плохую... Когда вернусь в мой кишлак, мечтал я, возьму горсть теплой и желтой, как золото, родной земли и прижмусь к ней лицом, а потом и умереть не страшно... Но придет ли он, этот счастливый день?

И вот... Помню, в то время я был извозчиком — хозяин отдавал мне четвертую часть выручки, этого едва хватало на хлеб и горячее... Так вот, рано утром я ожидал нанявшего меня человека у мечети Айя-София, а мимо пробежали мальчишки — продавцы газет, они кричали, перебивая друг друга:

— Революция в России!

— Царь Николай отрекся от престола!

— Образовалась временная власть!

Я еще не понимал всего смысла услышанного, но почувствовал, раз нет царя — это хорошо! Впервые в жизни я купил газету и сам прочитал ее: о том, что свергнут царь и у власти — Временное правительство, заголовки газеты кричали еще голосистее, чем мальчишки-продавцы.

Вечером ко мне пришли друзья, и мы до полуночи говорили о новостях из Петрограда. Все были радостны, поздравляли меня, и мы даже выпили немножко, потому что друзья мои надеялись: жизнь моя изменится теперь к лучшему.

— Джура-ака, понимаешь ли ты, что несет России революция? — спрашивал у меня Алибей, самый образованный из нас. — Ведь это — равенство, это справедливость, это конец голодной жизни!

В этот вечер я сказал друзьям, что решил во что бы то ни стало вернуться домой.

— Конечно, тебе надо ехать, как можно в такое время стоять в стороне! — поддержал меня Алибей. — Мы подумаем об этом...

Что означали его последние слова, я понял лишь впоследствии: оказывается, мои друзья ходили по знакомым и собирали для меня деньги на дорогу в революционную Россию. Они хотели хоть как-то прикоснуться к революции и, думаю, верили, что, помогая мне, помогают и ей.

Увидев деньги и поняв, что могу ехать домой, я за-

плакал... Никогда не забуду этих людей, думаю о них как о братьях.

В день моего отъезда друзья пришли в порт проводить меня, я видел — они завидуют мне, словно там, на родине, ожидали меня великие и славные дела.

Маленький грузовой пароходик, зайдя по пути в несколько портов, на пятый день пришел в Одессу. Оттуда через Тифлис, Баку и Ашхабад я добрался до Ташкента.

Уйдя в хадж на год, я вернулся на родную землю через двадцать три года.

На улицах Ташкента, как и в Баку, и в Тифлисе, часто встречались люди с красной повязкой на рукаве, проходили отряды солдат, все двигалось и стремилось куда-то, прежнее медленное течение жизни сменилось бурным водоворотом. Я остановил молодого парня с красной повязкой — он погонял ишака, тащившего арбу с сеном.

— Слушай, брат, что творится в этом городе, куда бегут люди?

— Вы с неба, что ли, упали, ака? — изумился парень. — Как не знаете?! Куропатка в клетке сидит, свобода пришла! Сейчас вот отвезу сено домой и тоже побегу...

Я слушал разинув рот. Куда он побежит? Вслед за остальными? А те — куда? И если куропатка сидит в клетке — почему это означает свободу? Но расспросить парня подробнее я не успел: еще не приспособился к быстроте новой жизни. Пока я закрыл рот, он уже исчез за углом. И только позднее я узнал, что куропатка в клетке была важной птицей: парень говорил о генерале Куропаткине, царском военном начальнике края.

На следующий день я добрался до Тойтюбе — и увидел то же, что и в Ташкенте: все спешат, кто бегом, кто на коне, — сплошная суматоха. Во дворе Аппанбая полно народу, но никто из собравшихся не был мне знаком. И двор и дом сильно постарели: дом чуть покосился, а дувал местами развален.

Я назвал себя собравшимся, и нашлись старики, что помнили обо мне.

— Говорили, бай взял с собой в хадж слугу, — сказал один из стариков, — так это, значит, ты?

— Мы думали, ты давно умер, — добавил другой. —

Сын Аппанбая лет двадцать назад устраивал поминки по отцу. Так я говорю?

— Да, так,— подтвердили и остальные аксакалы,— лет двадцать уже прошло.

— У бая был конюх, Аваз-курносый, может, он жив? — спросил я.

Когда-то мы дружили с Авазом.

— Нет, он тоже умер...— отвечал первый старец.— Тоже родственником тебе приходится?

— Нет, хотел у него о жене своей узнать.

— Кто твоя жена?

— Ортикбуш, дочь Каплана-ата. Жила в Шагози.

Старик задумался.

— Нет, не знаю,— ответил он наконец.— Намаз-вор спалил кишлак Шагози, говорят, никто не спасся.

— А давно спалил?

— Да как бай уехал, так скоро и спалил. Тоже, считай, лет двадцать минуло... Давние все это дела, сынок, кого найдешь теперь?

Душа моя, теплая и живая, сжалась от горя, и в груди стало пусто и холодно. Один я на этом свете, не дождалась меня Ортик... Куда пойду теперь?..

— Не печалься, сынок,— успокаивали меня старики,— благодари аллаха, что жизнь тебе сохранил,— ведь сколько бед над головой прошло. Да и кто знает — может, и жива еще твоя жена, может, найдется где-нибудь.

Я ответил, что пойду искать ее в Шагози.

— Если не найдешь жену, возвращайся, сынок, будешь жить в этом доме. Земли бая теперь наши, и дом тоже... А сын бая давно умер, сестра его неизвестно где.

Но я не думал о жилье, искорка надежды, подогретой словами доброго старика, гнала меня в Шагози. Прошел я с версту по дороге — слышу сзади топот, и нагоняет меня верховой, а с собой ведет еще коня.

— Ата велел отдать коня вам,— сказал верховой,— вернете на обратном пути.— И протянул мне поводья.

Да, брат, много на свете хороших людей. Не будь их, не сидел бы сейчас с тобой...

Приехал я в Шагози — вижу, тридцать — сорок дворов всего, бедный очень кишлак, и ни жены моей, ни знакомого лица. Из прежних жителей, людей Аппан-

бая, не осталось никого. Часть Намаз перебил, часть разбежались.

— Сказывали, будто увез Намаз-вор с собой женщину одну, и будто имя ей было — Ортик, а с ней ребенок малый...— вспомнила седая старуха, и больше никто ничего не знал.

Моя ли это Ортик? Мой ли ребенок?— гадал я, но точно узнать не мог, и следа никакого не оставалось. Искать больше было негде.

Я заехал в Тойтубе, вернул аксакалу лошадь, поклонился старикам — и отправился в Ташкент.

Ну вот, а там уже познакомился с Костей Zubовым — он в милиции работал и меня к себе взял: подружились мы. Потом вместе гонялись в Фергане за Мадаминбеком и Холходжой, известные басмачи были, слышал, наверное? А в прошлом году нас снова направили в милицию, уже сюда. Я стал большевиком, Костя меня и рекомендовал. И вот год минул, как работаю в Алмалыке. Но если слышу что-то об Аппанбае или людях его, волнуюсь и думаю о пропавшей жене моей, Ортик. Жива ли? Если умерла, то где могила? О ней ли говорила старуха в Шагози? И если так, что с ребенком, с моим ребенком?

VI

В дверь постучали. Я поднялся с кровати и, еще под впечатлением рассказа Джуры-ака, пошел открывать. Теперь-то я понимал, почему он так долго расспрашивал Ураза!

На пороге стоял Натан, бледный и насмерть перепуганный. Я впустил его в комнату, он молча подошел к Джуре, опустился на колени и низко склонился:

— Товарищ начальник, простите меня бедного. Я — приезжий человек, родина моя Бухара, в поисках хлеба насущного пришел в этот город...

— Встань, Натан,— спокойно попросил Джура и сам стал помогать сапожнику подняться.— Ну что опять стряслось?

— Ничего, товарищ начальник, ровно ничего...— Натан поднялся с колен и сел на стул.— Вы, оказывается, схватили этого печестивца Ураза. Большое дело сделали, товарищ начальник! — Он приложил руки к гру-

ди.— Я — рад! До каких пор эти басмачи будут нас мучить?

— Разве тебя тоже мучили, а, Натан?

— А как же! Просят деньги, золото. Откуда возьму? Беден я, пятеро детей у меня, с женой вместе — шесть, все кушать просят. Революция нам счастье дала...

— Зачем пришел, Натан? — прервал его Джура.

— Товарищ начальник! Не говорите обо мне разбойнику, зарежет ведь, зарежет, а я тоже человек!

— В тюрьме он, как зарежет?

— Не знаете его, товарищ начальник. Сущий шайтан. Убежит.

— Это от меня-то, Натан? — удивился Джура.

— Простите, товарищ начальник, вы — великий человек!.. Сбежит, да. От вас.

— Ураз сам сдался, мы не ловили, — сказал я.

— Ураз — сам? Басмач сам сдался? — не поверил Натан. — Не смейтесь надо мной, товарищ начальник.

— Правда, Натан, — подтвердил Джура. — Не веришь — спроси у него самого.

Щеки Натана порозовели.

— Ах, товарищ начальник! Вы — великий человек, я — маленький человек, Ураз — тоже человек, наверное, кушать хочет. Разрешите, обед принесу, товарищ начальник, Ураз хворый, он плов любит.

Джура рассмеялся:

— Ладно, неси.

Натан поклонился и, пятясь, вышел из комнаты.

— И ты предлагал его арестовать, а? — насмешливо упрекнул меня Джура. — Таких, как он, много, надо привлечь их, постепенно перетянуть к нам, на нашу сторону. Тогда тоже, как Ураз, плов есть будешь, поэт...

Вошел солдат-конвоир:

— Товарищ Саидов, тот вас спрашивает...

— Кто — тот?

— Да этот... Басмач. Я говорю, спит, нельзя будить, ночь не спал, тебя, головореза, ловил, а он все свое талдычит, и ругается еще: мол, важное сообщить хочу, зови скорее...

Джура вышел с конвойным, скоро вернулся, бросил мне с порога:

— Вставай, браток, найди Зубова скорее, а я еще с Уразом побеседую...

Начальника милиции я нашел у амбара — провожая

в Тангатапды последнюю арбу с пшеницей. Джура уже ждал нас в кабинете Зубова.

— Басмачи готовят нападение на продотряд, идущий в Чадак,— встретил он нас новостью.

— Откуда сведения?

— Ураз сказал. В пятницу обоз должен выйти из Коканда. У Чадака — засада Худайберды.

— Османов! — позвал Зубов.

Вошел конвоир.

— Приведи Ураза... А не врет он, Джура?

— Верю ему.

— Уж очень многим ты веришь... Как бы не вышло нам боком!

— Послушай лучше, что он предлагает. Отпустите меня, говорит, и приведу вам тех, что в засаде. Старший — уйгур, Абдуллой зовут. Не ладит с Худайберды.

Конвоир ввел Ураза. Теперь он не прятал, как утром, взгляд, держался смелее. «Решился», — подумал я.

— Не обманываешь, Ураз? — встретил его Зубов.

— Не люблю обманывать.

— Сколько ж их будет в засаде?

— У Абдуллы двадцать человек. Пойдет он — пойдут все.

— Как узнал, что продотряд выйдет в пятницу?

— Худайберды сказал. В Коканде его человек есть. Большой человек. Я раз видел, угощал его Худайберды. Но имени и кто такой — не знаю.

— Бежать хочешь, а, Ураз?

— Жить хочу! — глухо молвил Ураз и опустил голову. Потом добавил: — Отпустите — всех их приведу сюда. Только есть условие.

— Какое?

— Не сажайте их. Ведь вышел такой приказ, слышал я.

— Османов! — распорядился Зубов. — Уведи.

Конвойный вывел Ураза.

— Ну, Джура, что делать будем?

— Разреши, Костя.

— Сбежит, нам волосы по одному рвать будут — знаешь?

— И все-таки разреши. Я с группой пойду в Чадак; если Ураз не приведет людей Абдуллы, тронемся в Коканд, навстречу продотряду.

— Хорошо,— подумав, согласился наконец Зубов.— Только с Кокандом связаться надо будет, пусть отряд укрепят.

Конвоир привел Ураза.

— Отпускаем тебя,— сказал Зубов.— Но если обманешь, найду и пристрелю, помни.

Ураз улыбнулся, оскалил зубы.

Когда он в конюшне седлал свою хромоногую клячу, мне стало жаль его. Отпускаем на волю, а коня — что ж, отобрали? Я кивком показал Уразу: можешь взять своего вороного... Ураз обрадовался:

— Брат, если будет все хорошо, сам найду для тебя коня. А этого жеребца я и Худайберды не уступил. Тоскует он без меня...— И, выехав уже на улицу, обернулся и крикнул еще:— Эй, милиция! Большое дело сделал! Не забуду твою доброту. Ураз еще покажет себя, да!

И погнал коня.

Но не получилось так, как хотел Ураз, как хотел Джура. То, что произошло в Чадаке, свинцовой тяжестью легло на мою душу.

Когда мы с Джурой и с нами отряд милиционеров вошли в Чадак, мы увидели у крайних домов двадцать один труп... Двадцать басмачей, посланных в засаду, и с ними Ураз.

Случилось это так. Узнав от Зубова о предполагавшейся засаде, член Кокандского ревкома Саидхан Мухтаров лично возглавил продотряд. Когда они подошли к Чадаку, навстречу вышел Ураз. «Двадцать джигитов Худайберды готовы сдаться красным. Зубов знает. А Джура-милиция уже выехал сюда с отрядом — принять пленных»,— сказал Ураз Мухтарову. Мухтаров распорядился, чтобы басмачи вышли и сдали ему оружие и коней. Басмачи согласились. Как Ураз уговорил их сдаться — никто уже не расскажет... Когда басмачи остались без оружия, Мухтаров приказал связать их, связали и Ураза.

— Что ты делаешь? — возмутился Ураз.— Мы же добровольно перешли к вам...

В ответ Мухтаров хлестнул его нагайкой по лицу.

И тут только узнал в нем Ураз человека, которого угощал Худайберды. Но было поздно...

Обо всем этом услышал я шесть лет спустя, когда Мухтарова разоблачили и арестовали.

А мы — мы опоздали на час. Мухтаров расстрелял всех пленных.

Это была настоящая беда. И те басмачи, что колебались, могли бы уйти от Худайберды, теперь становились нашими заклятыми врагами.

— Ты предатель! — кричал Джура в лицо Мухтарову. — Судить тебя будут, я добьюсь!

— Попробуй! — равнодушно отвечал Мухтаров. — Попробуй, но что это даст? Правильно я сделал! Они хитростью хотели взять нас, но мы опередили их. А кто поверит тебе, полумулле, — двадцать лет жил где-то в чужой земле, неизвестно чем занимался, а потом втерся в ряды большевиков!

Джура побелел от гнева.

— Возвращайтесь и передайте Зубову, что Кокандский ревком выражает вам благодарность за своевременную помощь... — распорядился Мухтаров.

Жители кишлака помогли нам похоронить убитых. Потом мы молча двинулись к Алмалыку, но едва отъехали, Джура заставил меня вернуться.

— Стой, надо забрать у них коня Ураза! Догони их!

Мухтаров не стал спорить, отдал вороного.

Когда я вернулся к своим, Джура глянул на осиротевшего жеребца, сказал только:

— Хороший человек был Ураз. Те джигиты тоже стали бы хорошими людьми... — И больше до самого Алмалыка не проронил ни слова.

На следующий день я увидел — Джура собирается в дорогу. Еще прежде Зубов составил и отослал в Ташкент рапорт, где обвинял Мухтарова в убийстве басмачей, согласных сдать властям.

Пришел Натан. В лице, в глазах — печаль.

— Товарищ начальник, возьмите, Ураз оставил у меня... — и протянул Джуре маленький мешочек. По щекам Натана скатились две слезинки. — Как умер, а? Пусть земля ему будет пухом!

В мешочке было несколько серебряных колечек, серьги, два золотых браслета.

— Это все... — горько вздохнул Натан. — Все, что осталось от него. Я не успел продать...

Джура передал мешочек мне, сам оседлал коня. Натан все это время тихо стоял рядом с опущенной головой. Потом не выдержал.

— Товарищ начальник, что со мной будет?

Джура не понял вопроса, пожал плечами.

— Всей душой умоляю, товарищ начальник, не отправляйте в Сибирь! У меня ватника нет дома, был, да жена ребятишкам безрукавки сшила!

— Какая Сибирь, Натан, что за ватник?

Я тоже ничего не понимал.

— А разве вы меня не посадите?

— А за что, Натан?

— Ну все же... Продавал ворованные вещи... Помогал внутреннему врагу... Вы же понимаете, товарищ начальник, жить-то надо!

— Иди, работай спокойно. Никто не собирается сажать тебя,— ответил Джура.

— Ах, долгой жизни я вам желаю, товарищ начальник, очень долгой...— Натан снова заплакал.— Если не от меня, то от аллаха...— он зашуря,— хочу сказать, от государства воздастся вам за благодеяние.

— Сабир,— сказал Джура,— составь опись, и пусть Натан распишется.

— Спасибо, спасибо, ах, товарищ начальник... Не успел продать...

Я повел Натана к себе, составил акт о передаче в милицию награбленных вещей. Золотые браслеты из тех, о которых говорила певица Уктам. Прав оказался Zubov: вернули-таки золото...

Джуры не было три дня. Zubov сказал мне, что он отправился в Бештерак. На четвертый день я ехал с милиционерами на стрельбище и увидел далеко на дороге двух конных. Одного сразу узнал по посадке: Джура. А когда приблизился, узнал и второго: это была жена Ураза. Ребенка Джура держал на руках.

VII

В конце октября в кишлаках стало особенно беспокойно — дурные вести приходили каждый день. Басмачи не нападали теперь целой бандой, а разбивались на группы, в несколько человек и кусали исподтишка, но часто и в разных местах одновременно. Трудно было понять — то ли мало осталось у них людей, то ли берегут силы, готовятся к решительному нападению. В Чадаке убили молодого парня, учителя, приехавшего, как и я, по путевке губкома комсомола. Только день и успел поработать. В Тангатапды басмачи напали на обоз, отвозивший в город на продажу урожай фруктов.

Еще в одном кишлаке растерзали корреспондента ташкентской газеты и тело сбросили с обрыва.

В кишлаках портились собранные овощи, виноград, яблоки, дыни; амбары были переполнены, а тут еще зачастили дожди, на дорогах слякоть... Арбакеши отказывались пускаться в путь без охраны, каждый небольшой обоз сопровождали несколько милиционеров... Нам тоже приходилось охранять обозы, свободного времени почти не было, но, по настоянию Зубова, наши работники и милиционеры еще и занимались ежедневно — тренировались в стрельбе, ездили верхом, а я учил грамоте тех, кто не знал ее... Неграмотных было много, не все хотели учиться, некоторые увивали, и тогда Зубов распорядился повесить в коридоре милиции лозунг: «Кто не учится — тот внутренний враг!»

Лозунг показался мне очень страшным, и я было попросил Зубова заменить его другим, помягче, но начальник не согласился. Потом грозный плакат примелькался, и, как обычно бывает, люди перестали замечать его.

Я привык к новому месту, новым товарищам, а работа моя даже стала мне нравиться, хотя стихи писать я не бросил и, случалось, показывал их Джуре, а он подшучивал надо мной: «поэт», объясняя этим и неумелость мою, и незнание людей, и увлечение крайностями... Меж тем я научился прилично стрелять, владеть саблей, только вот замучил меня жеребец Ураза. С неделю после смерти хозяина вороной ничего не ел, глаза сделались тусклыми, стоял, опустив голову, не шевелился. Если я входил в конюшню — перебирал ногами, оглядывался на меня и снова замирал. Только через неделю начал пить, потянулся к кормушке. До того никого не подпускал к себе, лишь жену Ураза, а теперь давал мне подойти и погладить себя... Еще через неделю я сел на жеребца верхом и несколько раз объехал двор. И наконец я приучил вороного к себе. Товарищи завидовали мне, просили разрешения прокатиться на таком знатном скакуне, но вороной никого из них не подпускал — кусал или лягал, если подходили сзади. Признавал только меня да жену Ураза, Зебо.

Зубов устроил ее было на хлопковый завод, но она осталась жить в нашем общежитии. Убирала, смотрела за лошадьми — в одной руке ребенок, в другой — метелка или тряпка.

Все мы звали Зебо «апа», что означало «старшая сестра», хотя была она совсем молоденькая, лет всего семнадцати. Ходила, как жеребец Ураза, с опущенной головой, с нами почти не разговаривала — не спрашивала, не отвечала на вопросы, только с Зубовым держалась свободнее. Быстро справлялась со всеми своими делами и тихо сидела на крылечке, молчаливая, уставившись в одну точку невидящим взглядом.

Горе ее было известно всем, но как помочь ей, как вернуть к жизни, мы не знали. Завидев ее сидящей в печали на крыльце, Зубов начинал ворчать:

— Доченька, сколько можно убиваться так, ведь бе-ла света не видишь! Твой муж был хороший человек, да, и все-таки — басмач... Что уж теперь поделаешь? Терпеть надо. Ты молодая еще совсем, все у тебя будет, сам найду для тебя настоящего джигита... Ну хватит, хватит, вставай!..

Зебо молча вставала, не прекословила, молча же делала что-нибудь по хозяйству и опять возвращалась на свое место на крылечке. Можно было подумать, ждет кого-то...

— Ну что ты за человек! — сердился Зубов. — Ведь погибнешь так! Хоть о ребенке подумай, на кого оставишь!

В базарный день Джура принес, положил у колыбельки ее сына кусок шелка. Зебо отодвинула подарок. Вмешался Зубов:

— Зачем обижаешь человека? Он по-большевистски дарит, помочь хочет, а ты отказываешься. Бери! Зебо заплакала.

— Ну что поделаешь с ней, сумасшедшая, да и только! — огорчился Зубов.

Думая о Зебо и ее погибшем муже, я вспомнил рассказ Ураза о предстоящей свадьбе Худайберды и как-то спросил Джуру:

— Что, женился уже курбаши?

— На свадьбе захотелось погулять, да?

— А что ж! Интересно, какая свадьба бывает у басмачей? Посмотреть бы...

— Я тоже об этом думал... Нет, не женился еще курбаши, отложил свадьбу. Плакивает джигитов Абдуллы.

— Так, может, еще попадем к нему на свадьбу, а? Джура не ответил.

Кроме участия в операциях и учебы мне еще прихо-

дилось возиться с бумагами. Зубов поручил мне навести порядок в документах управления, и в том числе заново составить протокол о расстреле сдавшихся в плен басмачей в Чадаке.

Оказывается, Зубов после того трагического случая послал в Ташкент жалобу на Саидхана Мухтарова, но ответ получил такой: «В нашем деле эксперименты недопустимы. Отвечаете своим партбилетом». Джура хотел было сразу же ехать в Ташкент, но Зубов уговорил его подождать до зимы: через два месяца, в январе, в Ташкенте будет общее собрание народной милиции республики, тогда и нужно обратиться либо в спецотдел, либо к самому комиссару лично... А пока следовало подробнее составить протокол, полнее привести допрос Ураза.

Пока я занимался документами, Зубов и Джура думали о том, как разделаться с курбаши Худайберды. Я ничего не знал об их планах, но в один прекрасный день Джура оторвал меня от бумаг вопросом:

— Слушай, Сабир, ты ведь хотел видеть, как женится басмач?

— Конечно, а что?

— Тогда собирайся. Завтра свадьба Худайберды.

Сборы мои были недолгими — оседлать вороного, взять оружие. Мы тут же пустились в путь и на рассвете были в Шагози — маленьком кишлаке у подножия гор. Я помнил этот кишлак по рассказам Джуры, сюда уехала его Ортикбуш, и теперь с интересом разглядывал его: домов немного, сорок или пятьдесят, но видно, что кишлак сравнительно зажиточный. Я знал, что басмачи не тревожили Шагози, и ходили слухи, будто доставляли они сюда награбленное в других кишлаках.

Остановились мы в доме единственного здесь милиционера, Шадмана-охотника. Это был пожилой и многолетний чабан. Когда-то в молодости он охранял байское стадо, застрелил двух волков и тем заработал себе славное прозвище «охотник». И после, когда спрашивали его об имени, всегда уже называл себя Шадман-охотник.

Кишлак Шагози прикорнул у подножия гор, совсем близко к басмачам — приходи да грабь, а уйдешь потом в горы — ищи-свищи тебя...

Но старый Шадман держался спокойно, помощи от нас не требовал, да и я не помнил случая, чтобы он

столкнулся с басмачами... Была здесь какая-то тайна, но такого, чтобы он явно навредил нам, тоже известно не было. Так или иначе, когда нам нужно было что-нибудь в Шагози или заезжали сюда,— мы всегда обращались к Шадману, и он не отказывал в помощи. Тут вроде все было ясно. А вот то, что он не обращался за поддержкой и просьбами к милиции, было гораздо интереснее. Я подозревал, что старый Шадман одинаково ладит с милицией и с басмачами: ты, мол, не брал — я не видал. И такое случалось в те дни.

Сегодня он встретил Джуру словами:

— Ничего не мог узнать для тебя, братец. Видимо, потерял ты след...

Я понял — Джура просил Шадмана узнать что-нибудь о своей пропавшей жене.

— Говорят, есть в округе два-три старика, которые жили здесь раньше, да как найдешь? Времена беспокойные, сам видишь. Но постараюсь, постараюсь... Вы по этому делу сюда или как?

— На свадьбу хотим попасть,— ответил Джура.

— Да...— Шадман-охотник покачал головой.— Думаешь, перейдет?

— Поговорим, тогда и увидим.

— Нет, этот не перейдет, не жди. И помощь ему поступает из Оша, силы у него большие... Но вообще-то, конечно, кто знает, кто знает...

Шадман налил нам чаю, мы выпили по пиалушке и поднялись.

— Место все то же? — спросил Джура.

— Да, только будь осторожен, очень осторожен. Не дразни его...

Тон, каким сказал эти слова Шадман-охотник, не сулил нам ничего доброго. И правда — куда нас несет? Разве басмачи выпустят живыми?

Джура заметил мое волнение, но ничего не сказал мне, а ответил Шадману:

— Послов не убивают.

Мы выехали из Шагози, и сразу начался подъем. Мелкий холодный дождь и ветер пронизывали насквозь, вершины гор белые от снега — такой запомнил я дорогу на перевал.

Наконец тропинка повела вниз. И тут навстречу нам выехал всадник, при сабле, за плечом винтовка.

— Кто такие?

— Люди Аппанбая,— ответил Джура.

Басмач не понял:

— Не знаю никакого Аппанбая, но лошадь под твоим товарищем — Ураза.

— Саидхан дал. Проводи к Худайберды.

Басмач, видно, не знал, на что решиться. Джура заметил его колебания, распорядился властно:

— К земле прирос, да? Чего медлишь? Веди!

Басмач был явно растерян — что с нами делать? Буркнул себе под нос что-то ругательное, но все же повернул лошадь, повел нас вниз. В ущелье дорогу нам преградили еще четверо верховых.

— От Саидхана,— сказал им басмач, и они повели нас дальше, в горы.

Я не понимал, почему Джура назвался человеком Аппанбая, почему объявил, что мы от Саидхана. Что еще за Саидхан? Даже обиделся немного.

Потом уже Джура сказал мне, что сердцем чуял — связан Саидхан Мухтаров с басмачами. Он рисковал, конечно, называя это имя,— но не ошибся. Единственного, кто мог бы рассказать нам правду,— Ураза — Мухтаров убил. Но если не был он врагом — почему расстрелял людей, сдавшихся в плен, почему не подождал нас?..

Когда мы поднялись на второй перевал, ветер разогнал тучи, и видно было, что солнце уже клонится к закату.

Вдали, на равнине, поднимались в разных местах струйки белого дыма. Мы начали спуск, и скоро порыв ветра донес до наших ушей звуки бубна. Тех четырех конных, что сопровождали нас, сменили уже другие четверо — постарше, возрастом равные Джуре, и снаряжены были побогаче: хромовые сапоги, чапаны из бекасама, у всех английские пятызарядные винтовки.

Проехали еще километра два, впереди забелели шатры, послышались громкие голоса, смех, долетел запах только что закрытого для упарки плова.

Поблизости шатров стояло с десятков, а сколько за ними, я не мог сосчитать. Два шатра в центре были украшены особо: на одном — ярко-красное полотнище и поверх наброшено семь-восемь бархатных паранджей; второй шатер, белого войлока, покрыт с одной стороны красным ковром. А вокруг, на траве,— еще ковры, войлочные паласы. Дальше, за шатрами, у ручья — разве-

ден костер, собрались люди. Видны большие и маленькие котлы, и доносятся оттуда дразнящие запахи, значит, угощение скоро поспеет. Вокруг котлов, напевая, расхаживают повара, полы узорчатых халатов заткнуты за пояс, а на поясе — у кого нож, у кого и сабля. Мы среди праздничных приготовлений, видно, не привлекали внимания — лишь один из поваров пригляделся и крикнул:

— Смотрите, Ураз! Эй, давай сюда!

— Твой Ураз давно в могиле. Это конь его, — ответил кто-то.

— Стой! — распорядился один из провожавших нас басмачей. Мы остановились, с нами остались трое конных, четвертый подъехал к белому шатру, спешился и, подняв полог, шагнул внутрь.

Я не видел уже ничего вокруг, сердце мое бешено колотилось, и существовал только белый шатер, откуда должен был вернуться басмач и объявить нашу судьбу. Рука моя сама потянулась к оружию, машинально я расстегнул кобуру и, поймав себя на этом движении, глянул на Джуру. Он тоже напряженно смотрел на белый шатер, но почувствовал мой взгляд, обернулся и, поняв видно, мое волнение, успокаивающе прикрыл глаза. Не бойся, мол, все будет в порядке.

Да я и не боюсь... Но если случится что, так просто им не дамся. Краем глаза глянул на ближнего басмача. Тот дремал в седле. Второй был рядом с Джурой. Ладно, со своим я справлюсь, второго сомну лошадью, а Джура тем временем достанет пулей третьего, что держится за нашими спинами. Если быстро разделаемся с ними, успеем уйти... Только далеко ли? Нам лишь бы добраться до перевала... Я глазами указал Джуре на конного позади нас, он кивнул.

В это время четвертый басмач вышел из-за полога шатра и не спеша пошел к нам.

— Оружие сними, — приказал он Джуре. Тот спокойно отдал басмачу саблю и маузер.

— Ты тоже, — обернулся басмач ко мне. Я глянул на Джуру. — Не бойся, не пропадет, — успокоил басмач. Я спешился, отдал револьвер и саблю.

— Да, парень, когда бы вы пришли не от Саидхана, распрощался б ты с этим конем! — осклабился басмач, взяв у меня узду. Потом обернулся к Джуре: — Идите,

Я все еще не знал, кто такой Саидхан, почему это имя охраняет нас и открывает дорогу. А спросить у Джуры нельзя было — басмачи провожали нас до самого шатра.

Мы шагнули за полог.

На алом ковре, опираясь на бархатные подушки, расположились трое: по краям два почти уже старика, а между ними, в центре, молодой, богато одетый — на плечи накинута халат, шитый золотом. Это и был, видно, курбаши Худайберды. В первое мгновение, увидев эти густые брови вразлет и темные пристальные глаза, я опешил: почудилось, что сидит на почетном месте Джура. Но нет, вот он рядом, мой товарищ. А правда, похож на него курбаши. Недаром спрашивал, значит, Ураз тогда, на дороге, не байского ли рода Джура-милиционер.

Джура поздоровался, курбаши еле ответил, указал рукой, где нам сесть. Один из приближенных его советников прочел молитву, другой передал Джуре пиалу с чаем...

— Что шлет нам Саидхан? — спросил курбаши.

— Ничего.— Джура твердо смотрел в глаза Худайберды.

Курбаши понял его по-своему:

— Можешь говорить.

— Я по своему делу.

— Кто ты? — удивился курбаши.

Джура достал из кармана гимнастерки удостоверение ГПУ и протянул Худайберды, тот взял и долго рассматривал.

— Так это ты и есть Джура-милиция.

— Да.

— Знаю тебя. Много хлопот нам доставил.

— Работа такая,— улыбнулся Джура.

— Я не слыхал, что ты наш... Этот тоже? — Худайберды кивком указал на меня.

— Да.

— Ты говорил моим джигитам, что вы люди Аппанбая. Кем доводишься ему?

— Я был его слугой. Он брал меня в хадж...

Джура коротко рассказал о хадже, о страшной гибели в пустыне Аппанбая и всех его спутников. Курбаши внимательно слушал, а когда гость кончил, долго

молчал; его советники, видно, ждали слова предводителя.

Наконец заговорил один из стариков.

— Стоит ли много переживать, бек?— начал он медленно.— Вашего покойного отца, Аппанбая, аллах принял в свои владения, он в раю вместе со святыми. Ваш покойный ныне брат — мир праху его! — устраивал в свое время поминки по отцу, и была прочитана заупокойная молитва, и народу было не перечесть. Слава аллаху, все было как надо — достаточно и почетней и уважения. И еще скажу, бек: не та мать, что родила, а та, которая воспитала. Махкамбек вырастил и воспитал вас, волей аллаха вы стали большим человеком. Да, ваш отец — великого рода, и это тоже по воле аллаха. Не горюйте, мой бек!

— Ты причинил нам боль,— сказал Худайберды, глядя исподлобья на Джуру.— Мы слышали о том, что отец погиб в пустыне, но твой рассказ сжал нам сердце. Домулла, прочитайте молитву в память моего отца, мир праху его!

Старик, что возносил молитву вначале, прокашлялся и напевно стал читать суру Корана. Когда он закончил, Джура, я видел, хотел было что-то спросить у курбаши, но тот остановил его, а советникам сказал:

— Одарите их одеждой, они дорогие гости на нашей свадьбе. Аминь!

Мы поднялись, направились к выходу, и тут курбаши спросил вслед:

— Как, говоришь, звали жену твою, милиция?

— Ортик, Ортикбуш...

— Да, Ортикбуш... Ты нашел ее?

— Нет. След теряется в Шагози.

— Будет на то воля аллаха — найдешь ее.

Мы вышли наружу. Вечерело. У шатров зажжены были уже несколько костров, летели искры, вокруг плясали, что-то пели, но из-за пьяных выкриков я не мог разобрать слов. В общем, каждый на этой свадьбе веселился как мог.

Повинуясь слову Худайберды, нас усадили на огненно-красный ковер, расстелили перед нами дастархан, принесли горячие лепешки, сушеные фрукты, блюдо с мясом. Увидев посыпанные душистыми семенами лепешки, услышав восхитительный аромат мяса, я почувствовал такой голод, что все страхи и сомнения унес-

Когда веселье чуть поутихло, начали раздавать плов, и нам с Джурой передали слова Худайберды: курбаши звал нас угощаться в кругу приближенных. Помню, что удивили меня стоявшие в ряд огромные расписные китайские блюда, и я подумал еще — где они их взяли, как доставили в глухие горы — уму непостижимо...

Плов был приготовлен искусно. Мы брали его горстью, приминали, чтоб взятое не рассыпалось, и несли ко рту...

— Говори, милиционер, что могу сделать для тебя? — сказал Худайберды, вытирая после плова руки.

Джура попытался изобразить улыбку.

— Ничего мне не нужно... Прожил двадцать лет на чужбине, стосковался по родной земле, по узбекской свадьбе — вот и захотел посмотреть. Этот, молодой, тоже напросился. — Джура глянул на меня: — Ну что, нравится здесь тебе?

— Лучше не бывает! — выпалил я.

— Э-э, малый, не видел ты настоящей свадьбы, — покачал головой курбаши и тут же похвастался: — Вот прогоним гяуров, той закачу на всю землю святую, весь мусульманский род удивлю! Приезжайте тогда, гостями будете...

— А вы уверены бек, что прогоните? — спросил Джура, и я напрягся весь, ожидая ответа курбаши.

— А ты сам что скажешь, милиция?

— Я? — Джура будто бы задумался. — Я?.. Вот если б нам еще пять-шесть таких смелых и мудрых, как вы, бек...

— Правильно говоришь, — согласно кивнул Худайберды. — Таких, как я, мало, да и те, что были, погибли уже... Эх, да что уж, — он решительно махнул рукой, как бы отсекая ненужную ему часть беседы... — Не будем нынче об этом... Моя свадьба сегодня, девушка красивая ждет меня... В горах тоже жена нужна. Как ты говоришь, милиция, твою жену звали? Ортикбуш, да?

— Так, — подтвердил Джура.

Худайберды задумался.

— Мою мать тоже звали Ортикбуш. Почти не помню ее, но знаю: когда было мне два года, Намаз выкрал нас, а Махкамбай выкупил и женился на моей матери, Но она умерла в том же году...

— У нее на руке, на левом мизинце нарост был, с фасольку всего...— продолжал Джура, будто и не слышал слов курбаши.

— А ты откуда знаешь? — быстро спросил Худайберды, и я почувствовал его тревогу. В глазах у него больше не было тумана, смотрел напряженно.

— Я рассказываю вам, бек, о своей жене,— глядя ему в лицо, говорил Джура.— У Аппанбая не было жены по имени Ортик...

Глаза Худайберды горели, как у волка, сам побледнел, но не шевелился. Странно смотрел он на Джуру. Потом отвел взгляд и улыбнулся одними губами:

— Думаю, отец не отчитывался перед тобой...— Поднялся, распорядился властно:— Домулла, пора, приступайте к обряду!

Толпа джигитов проводила курбаши к красному шатру под паранджами, где ждала его невеста.

— Едем,— шепнул мне Джура.

Увидев, что мы собрались в путь, нам принесли наше оружие. Опять четыре басмача проводили нас до перевала и там передали другим.

— Сердце мое чуть не разорвалось, боялся за вас,— так встретил нас в Шагози Шадман-охотник.— Ну что, согласился?

— Поживем — увидим,— ответил Джура.

Мы двинулись дальше, и до самого Алмалыка Джура молчал, ехал, казалось, не видя дороги, уронив руки на луку седла. Я знал, что мучило его, но помочь или хотя бы посоветовать что-то путное казалось мне невозможным.

В управлении нас встретил Зубов, выбежал во двор:

— Ну?

— Костя...— сказал ему Джура,— Худайберды... Худайберды — мой сын!

VII

Я сидел в управлении за бумагами и не мог работать — все думал о Джуре. Что будем делать теперь, что Джура будет делать, каково ему сейчас?..

Пришла Зебо с ребенком на руках, хотела убрать комнату. И впервые заговорила со мной:

— Боялась я... Ураз рассказывал — у курбаши злое сердце, не любил его.

— Ну, не такой уж он и злой, этот курбаши. Мы с ним из одного блюда плов ели!

Зебо не поверила, подняв край платка, внимательно посмотрела на меня маленькими глазками.

— Правда,— добавил я.— Были на свадьбе его, из одного блюда с ним ели и бузы выпили...

— Что ж тогда Джура... Джура-ака печальный такой?

Я хотел было сказать Зебо, потом раздумал. Захочет Джура — сам объяснит ей. Но что-то надо было ей ответить, и я вспомнил о Саидхане. После нашего возвращения от Худайберды Зубов сообщил в Ташкент, что Саидхан связан с басмачами. Никто не сомневался теперь, что Мухтаров и есть тот самый Саидхан, имя которого открыло нам дорогу к Худайберды. Но Мухтаров успел бежать: пока из Ташкента пришел в Коканд приказ о его аресте, Мухтаров исчез. Только через шесть лет он был пойман таджикскими чекистами в Хороге; все шесть лет, работая в сельсовете, вредил как мог... Из Хорога его переправили к нам, и я допрашивал убийцу Ураза... Потом его осудили.

Но сейчас я только мог сказать Зебо:

— Среди нас был враг, он предал Ураза.

— Поймали?

— Нет еще...

— Ураз хорошо говорил о Джуре-ака.

— Джура хороший человек.

— Почему живет один?

— Нет никого родных,— ответил я и тогда впервые вдруг подумал: «А что, если поженятся они, Зебо и Джура-ака? Ведь здорово было бы!.. Сейчас оба несчастны, а соединятся — заживут счастливо». Я решил было поделиться своим открытием с Зубовым, но не успел — отвлекли срочные дела. Опять пришлось собираться в Шагози.

Приближалась зима, и все труднее становилось поддерживать связь с кишлаками. Дороги раскисли, подвод мало... Басмачи почувствовали себя свободнее, нападали все чаще.

Больше нельзя было медлить. Если захватим Худайберды и его отряд — мелкие группки, действующие вокруг Ахангарана, станут бессильны, справиться с ними будет проще.

Зубов вызвал подкрепление из Ташкента, а до его

прибытия мы тоже не сидели сложа руки. Джура сам хотел ехать к Худайберды, но начальник не разрешил.

— Он ведь не признал тебя за отца,— сказал Зубов.— Вырос у бая, им воспитан. Разве такой человек назовет отцом бедняка? Думаю, он не обрадуется, может и пристрелить тебя, рука не дрогнет. Лучше сделаем так. Шадман-охотник отнесет ему письмо от нас. Дадим неделю срока. Придет сам — сохраним ему жизнь. Нет — пусть знает, мало осталось гулять на свободе... Возьмем его с боем.

И вот я повез в Шагози письмо, адресованное Худайберды. В письме сказано было, что Джура — отец его, что из уважения к отцу, к матери ГПУ просит его сдаться без боя, выйти самому. Это облегчит его вину. В противном случае ему больше не на что рассчитывать — и он и его басмачи будут уничтожены!

Шадман-охотник с письмом отправился дальше в горы, к басмачам Худайберды, я же вернулся в Алмалык. Сюда уже прибыл из Ташкента кавалерийский эскадрон. Мы все с нетерпением стали ждать ответа курбаши. Я от души желал, чтобы Худайберды сдался, чтобы признал Джуру, чтобы с криком «Отец!» бросился ему на грудь!

Худайберды, конечно, посадят, и надолго, но ведь вернется же он, вернется к отцу! Может, делается даже его помощником,— он, видно, ловок и смел, решителен он, курбаши Худайберды. А если еще Джура-ака женится на Зебо, все будет хорошо, все будут счастливы и спокойны!

Через шесть дней мы получили ответ, его принес младший сын Шадмана-охотника. Худайберды спустился со своим отрядом в Шагози и повесил всю семью Шадмана. Младший сын, на счастье, был в тот день в степи и так спасся. И еще важно было, что басмачи об этом спасшемся сыне, кажется, не знали.

Мы тут же пустились в путь, эскадрон сопровождал нас. Да, прав был домолла, утешавший Худайберды: «Не та мать, что родила, а та, которая вырастила». Махкамбай на славу воспитал своего приемного сына!

Ночью мы подошли к Шагози, окружили кишлак с трех сторон, оставив один путь — в горы. А там басмачей ждала засада.

На рассвете командир эскадрона послал к Худай-

берды человека — в последний раз курбаши предлагали сдать, и он опять отказался.

Начался бой. С выстрелами, с дробью пулемета мешались крики женщин и детей. Только к полудню мы выгнали басмачей из кишлака. Они подались в горы, но сверху их осыпали огнем ожидавшие в засаде бойцы. Басмачи металась, как волки, попавшие в капкан, но бежать им было некуда.

И тут на склоне горы, над обрывом, показалась группа всадников — там, видно, была тропа, о которой мы не знали.

— Это Худайберды! — крикнул мне Джура и бросился к лошади. Я пустился за ним, и вот тут-то убедился я, что конь Ураза не знает себе равных. Мы настигали басмачей, и я вырвался далеко вперед. Басмачи сначала, видно, уверены были, что сумеют уйти, и не стреляли, но когда я приблизился, над моим ухом свистнула пуля.

— Стой! Сабир, стой! — кричал мне Джура. Я не понимал, чего он хочет, но задержался, дождал его. Обогнав меня, Джура приказал: — Держись за мной!

Мы поскакали рядом — конь Ураза не желал идти позади. И тут я еще раз увидел, как стреляет Джура. Два выстрела — два басмача свалились с лошадей.

Третья лошадь несла двоих.

— Не стреляй! — крикнул Джура. — Там женщина... В парандже...

Я разглядел — синяя бархатная паранджа была на женщине, в день свадьбы курбаши она висела на шатре невесты...

Мы догоняли Худайберды.

Вдруг женщина покачнулась, наклонилась вбок и упала с лошади на тропу.

— Посмотри! — бросил мне на ходу Джура и помчался вперед. Я с трудом остановил коня, спешил, подбежал к женщине. Она тихо стонала: «Жива!» — обрадованно подумал я и тут заметил рукоять ножа: Худайберды ударил ее в бок... Я скорей вытащил нож из раны, женщина потеряла сознание...

Подоспели бойцы эскадрона. Я поручил им жепу Худайберды, а сам пустился вдогонку за Джурой — он спустился по склону куда-то ниже. Обогнув скалу, я увидел впереди двух басмачей; Худайберды скакал

вторым, а позади, шагах в пятидесяти, попевал за беглецами Джура. Я пустил своего вороного вдогонку, нагнал Джуру и крикнул:

— Почему не стреляешь? Патроны кончились?..

Я поднял винтовку, взял на мушку Худайберды.

— Не стреляй! — крикнул мне Джура.

— Не стреляйте, отец! — донесся голос Худайберды.

«А, теперь, значит, признал отца!» — злорадно подумал я, но хлопнул выстрел, конь мой споткнулся, я вылетел из седла. Ударил еще выстрел, «а-а-а!» — раздался страшный крик, и я успел понять, что это ранен Худайберды.

Когда я через какое-то время очнулся и поднял голову, первое, что увидел, — недалеко от меня Джура сидит на корточках возле Худайберды. Второго басмача не видать — ушел, наверное.

Хромая, опираясь на винтовку как на палку, я подошел к Джуре. Глаза Худайберды были закрыты, но он был еще жив.

— У тебя есть вода? — спросил Джура.

Я протянул флягу. Джура отвинтил колпачок, приложил горлышко ко рту Худайберды. Тот глотнул раз, другой, открыл глаза. До сих пор помню его лицо: как у ребенка, что очнулся от страшного сна. В глазах его я увидел слезы.

— Похороните... рядом с матерью... — еле слышно проговорил он. — В Чусте...

Джура не ответил, поднял голову сына, снова дал ему пить. Но пить Худайберды уже не стал, побелевшие губы его дрогнули, он захрипел, будто хотел что-то сказать, рука сползла с груди, тяжело упала на траву.

— Все... — сказал Джура. Я глянул ему в лицо, и мне стало страшно.

Тут бабахнуло откуда-то сверху. Я быстро обернулся. Увидел на скале над нами фигуру с винтовкой. Быстро выстрелил в ответ — не знаю, попал ли... Басмач исчез. Я взглянул на Джуру... Он лежал рядом с Худайберды. Я бросился скорее к нему, старшему моему брату.

— Джура-ака, Джура-ака!.. — звал, кричал, плакал я.

Он не отзывался.

IX

Джуру перевезли в Шагози, здесь и похоронили. Я попросил было отвезти его в Чуст, похоронить рядом с женой, но Зубов не согласился:

— Нет, Сабир, Джура должен лежать здесь. Тут он служил, на этой земле пролил кровь. Придет время — Шагози назовут кишлаком Джуры Саидова...

И вот — сколько уж лет прошло. Когда мне бывает трудно, когда я не уверен в себе или не знаю, какое принять решение, я вспоминаю его. Я спрашиваю его, а он, живой в моей памяти, отвечает мне. Джура-ака, мой старший брат.

Алмалык теперь большой город, и кишлак Шагози тоже разросся, — здесь много народу, поднялись кирпичные дома, проложены хорошие дороги. Только никто не помнит теперь старого названия «Шагози» — называют это селение просто Джура-кишлак.

Когда я приезжаю сюда, встречаюсь с Зебо, — она здесь председатель сельсовета. А сын ее, Бохадур, стал известным ученым.

Иногда мы собираемся все вместе, едем к могиле Джуры, вспоминаем его, вспоминаем прошлое. Вот и сегодня я вспомнил тоже...



ПУСТЫНЯ

I

Недавно приводил я в порядок старые бумаги и нечаянно наткнулся на забытую фофографию. Увидел стариковское утомленное лицо, худое и в морщинах, отсутствующий взгляд, вгляделся, задумался — и вспомнил этого человека...

Шесть лет назад я возвращался домой из-за границы, побывал как журналист в одной из стран Ближнего Востока. В небольшом портовом городке на берегу Средиземного моря мне пришлось задержаться на сутки: пароход в Одессу уходил лишь на следующий день. Я устроился в гостинице, принял душ, позавтракал, отдохнул — и больше в номере делать было нечего.

Хотя час стоял полуденный и на улице было жарко, я вышел из гостиницы — пройтись по незнакомому городу.

Небо было чистое и блеклое, воздух прозрачен, и полдневная улица казалась если и не вымершей, то погруженной в какой-то колдовской сон. Впрочем, может быть, я и ошибался, — вдруг в этом городке всегда так тихо и сонно, и никакого колдовства нет — а просто городок и его жители чувствовали себя частью этого мира, этого сонного дня, неподвижного солнца, нагоняющего дремоту неба, и жаркого воздуха, пустого и неподвижного... Может быть...

У дверей гостиницы сонно склонил голову чистильщик сапог, и усы его обвисли от жары...

На мостовой тележка — род такси: крохотный черный ослик запряжен, деревянный кузов украшен резьбой, на козлах тощий старик в залатанном халате машинально перебирает четки, но и в малом этом движении нет течения времени, а лишь неподвижность и сон...

Направо от гостиницы — низенький плоский домик, сладко похрапывает на полу веранды волосатый толстяк. Здесь же, у веранды, стончески ждет покупателей мальчуган в длинной, по колено, рубашке и, видать, без штанов — в руках у него, нанизанные на бечеву, отливают красным рыбешки...

Тихо...

Но тут с моря потянуло вдруг ветерком, до меня долетел пряный запах какой-то снеди — и разбудил меня.

Наверное, несколько минут я достойно дополнял мирную картину сонной улочки...

Я отправился побродить, посмотреть порт и город.

Тихим и малолюдным показался мне городок, и все в нем противоречило шумному понятию «порт» и привычной для нас переменчивости: прибытие — убытие, прилив — отлив толпы, гомон, свистки...

Пустынные улочки тихо убаюкивали извивами и меж тем ползли в гору — я и не заметил, как поднялся довольно высоко над морем и портом — здесь кончался город. Еще несколько шагов — и я понял, что нахожусь у цели своего путешествия; ведь, наверное, не просто так ноги принесли меня сюда: неуклюжая каменная глыба вздымалась над землей, издали — лишь слегка наклонившаяся, поближе — нависшая, а вблизи — уже и угрожающая, будто тигр, который вот-вот бросится на вас, но пока лишь рычит, показывая страшные клыки.

Два туриста, как будто немцы, светловолосые, с кирпично-загорелыми лицами, в шортах, фотографировали каменную глыбу. С площадки открывался вид на город и море; я опустился на скамеечку и закурил.

Безмятежная водная гладь сливалась где-то у горизонта с голубым небом и нет-нет сверкала золотом под набежавшим ветерком. Я не помню, сколько времени я просидел здесь, любуясь простором воды и неба, живой игрой солнечных бликов и ощущая себя причастным к этому сверкающему дню, счастливым и вольным... Как вдруг моего слуха коснулся тонкий и протяжный звук, будто прилетевший из голубого с золотом царства, дремлющего передо мной... Еще, еще, — по это же най, камышовая свирель, совсем как у нас в Узбекистане! Я прислушался, я ждал со счастливой уверенностью: вот, вот опять сейчас заиграют... И правда — невидимый най зазвучал опять, и голос его теперь слышался близко. Мелодия вначале была грустной, даже печальной, потом оживилась и вдруг рассыпалась радостными трелями, зазвенела, как весенний ручей.

И я увидел цветущие долины родного Узбекистана, увидел пушистых ягнят в ароматных травах — радостно звенели их колокольчики, увидел горные кряжи, и пропасти, и вершины в вечном снегу, и наконец мне открылась прекрасная картина южной ночи — бездонное черное небо с золотой россыпью звезд...

Я побывал в разных странах и не однажды восхищался их музыкой, но подобной игры мне слышать не приходилось — да и кто не у нас, не дома, мог с таким искусством владеть наем?

И оборвалась радостная, сверкающая мелодия, поплыла тихая, грустная — точно горькая жалоба, точно прощание с людьми и с жизнью, — безутешно плакала тростниковая дудочка... И опять запел най, взяв тоном выше, — дрожь прошла у меня по спине...

— Хорошо играет, да? — это у меня вдруг спросили на родном моем языке, на узбекском.

Я обернулся — увидел седого незнакомого старика, чуть косо поставленные глаза разглядел, щеки смуглые, широкие брови, слитые над переносицей и, как и волосы, седесть начавшие. «Вы узбек?» — бился во мне вопрос, но прямо спросить незнакомца показалось мне неприличным, и я поднялся со скамьи и ответил только:

— Хорошо...

Мы поздоровались.

— Да, а я вот каждый день сюда прихожу, игру ее послушать... — Старик жестом пригласил меня сесть.

— «Ее?» Это женщина играет?..

— Да... одна женщина несчастная... — старик вздохнул и опустил голову. — В молодые годы была красавица... Ну, а теперь состарилась, живет в бедности, чуть ли не нищая и никому не нужная...

— Вы... с ней знакомы?

— Как же, конечно, — она ведь тоже узбечка, из Самарканда... Бог знает когда, в юности, бежала за границу с каким-то байским сыном, тот, года не прошло, умер, вот из нее чужбина-то жилы и повытянула... Ни здоровья, ни красоты... а когда ослепла... это при мне уже было, недавно, так еще будто и рассудком помутилась, говорят...

— Но как же она играет... А нельзя ли ее повидать?

— Отчего же... Пойдемте.

Старуху мы нашли на соседней улочке — она сидела скрестив ноги, на убогой веранде с покривившимися столбами. Лоб и глаза закрыты ветхим кисейным платком, на плечах обтрепанная рубаха... Легонько раскачиваясь, старуха что-то шептала. Най лежал рядом...

Мой новый знакомый наклонился к ее уху:

— Да умножится ваше потомство! — громко поздоровался он. — Пришли поведать вас...

Старуха покачала головой, погладила металлическое блюдо у себя на коленях и ничего не сказала.

— Плохо слышит... — объяснил мой знакомый.

Я достал из кармана несколько монет и положил на блюдо.

Старуха протянула к блюду руки, на ощупь сосчитала монеты, продолжая что-то шептать, потом коричневые морщинистые щеки ее дрогнули и губы растянулись в улыбке.

— Салам алейкум, бабушка! — поздоровался я.

— Ваалайкум ассалам! — ответила наконец старуха, спрятала монеты где-то на поясе, погладила блюдо и обратила лицо ко мне: — Кто ты, сынок?

— Я проезжий, возвращаюсь на родину...

— Да-да, тут много проезжих, много вас, странников. На этом свете все мы странники, и Мухаммед, пророк аллаха нашего всемогущего, странствовал, все мы в руке господней, все странники. — Она пробормотала еще что-то, потом, тихонько раскачиваясь, затащила вполголоса песню-плач, запричитала слезливо и жалко...

Старик тронул меня за руку, я обернулся и увидел слезы у него на глазах. Мы тихонько ушли. Звук свирели, тонкий и жалобный, долго провожал нас.

На берегу моря мы остановились. Старик взглянул мне в лицо и вдруг сказал:

— Простите, я вижу, что огорчил вас.

— Не каждый день приходится встречать... вот так... земляка...

— Если вы не против, давайте выпьем по чашечке кофе, здесь в гостинице умеют приготовить...

Я согласился в надежде, что разговор со стариком поможет стряхнуть подобравшуюся тоску, однако мне суждено было сегодня услышать рассказ еще более грустный...

Мы добрались до гостиницы, устроились за столиком, выпили по чашечке чудесного кофе — и на душе у меня стало поспокойнее. Старик тоже как будто повеселел.

— Откуда вы, из каких мест родом? — спросил он приветливо.

Я назвал родной кишлак.

— Слышал, как же, да побывать не пришлось... Я,

как видите, тоже узбек... Только вот уже сорок лет почти не видел родины... И не судьба уж, наверное...

Старик опустил голову, задумался, я не хотел мешать ему... Чем-то он был похож сейчас на давешнюю старуху, что-то близкое в выражении лица почувдилось мне...

Я попросил принести еще кофе. Старик поднял голову:

— Хотите послушать мою историю?

— Хочу,— сказал я.

II

— Родился в кишлаке Чалыш. Это под Хорезмом, на берегу Амударьи. Может быть приходилось бывать в тех местах?.. Ну вот, а когда мне минуло четырнадцать лет, мы всей семьей переселились в Новый Ургенч.

Отец мой считался по тем временам человеком ученым, занимался же торговлей и еще умел лечить. Во дворе у нас вечно сидели несчастные в язвах, струпьях, с нечистыми повязками... Я смотрел на них с отвращением, отец заметил это и сказал так:

— У русских есть пословица: от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Не считай себя, сын мой, выше этих больных людей, ибо страдания их — от бедности, от нищеты. Многие болезни может побороть знание, но нет лекарства от бедности. Берегись ее.

Моя мать, любившая отца и всегда помогавшая ему, согласно кивала головой, слушая его наставления. Мама была молодой, моложе отца на двадцать лет; отец — я видел — баловал ее. Она могла не заниматься обычной женской работой, на то были служанки, а мама много читала, знала наизусть древних поэтов — иногда вечерами она, чуть нараспев, читала отцу вслух, и я тоже слушал, и мог слушать ее без конца. Счастливое было время... И еще помню, мама сама пробовала складывать газели, отец в минуту отдыха весело просил ее почитать свое... Семья наша была дружной, и сам я был всему причиной; отец долго хотел иметь сына, но женился поздно, уже под пятьдесят,— мол, только шайтану не на что надеяться! И вскоре родился я, единственное и ненаглядное дитя, и рос, видя в родителях внимание, заботу и любовь...

Но беззаботное мое детство неожиданно оборвалось. Я запомнил эти дни, ибо переменялось многое: в Хиве свершилась революция, прогнали Джунаид-хана, и провозглашена была Хорезмская народная республика...

Отца я теперь часто видел озабоченным и встревоженным. Мама тоже была невесела и даже сильно похудела — она вообще была некрепкая здоровьем, наша мама... А рассказывал мне о происшедших событиях и толковал их один русский человек, давний друг нашей семьи, инженер, звали его... звали его — да, Константин Степанович Лойко. Он многому научил меня и необыкновенным образом повлиял на мою судьбу — поэтому расскажу о нем немного...

Так вот, был он инженер, сосланный в наши края еще в девятьсот двенадцатом году... Помню — высокий, худой, сильно загоревший под нашим солнцем, и кожа на носу облуплена. С отцом они были приятели, и Константин Степанович частенько навещался к нам, сперва в Чалыш, а потом и в Ургенч. Помню его рассказ о том, как отец мой вылечил его, спас от смерти, когда он только приехал к месту ссылки... Может, было еще что, не знаю, но помню, что отзывались они с отцом друг о друге с почтением, и, отправляясь в дальние торговые поездки, отец просил Лойко не забывать нас с матерью, помочь и защитить, если потребуется... И я любил Константина Степановича — он свободно владел узбекским и рассказывал мне о России, о Петрограде и Москве, от него я впервые услышал имена Пушкина и Толстого, узнал о Горьком... Наверное, одним из первых в нашем городе прочитал я с его помощью «Капитанскую дочку» — и до сих пор помню, как хотел быть Гриневым, как мечтал вырвать свою Машу из рук неведомых злодеев... Прочитали мы и «Песню о Буревестнике»... А город Ургенч в это время гудел, как встревоженный улей. Народ, ставший вдруг хозяином земли, хозяином воды, почувствовавший себя хозяином жизни и смерти, — народ толпился на улицах, ибо стены домов не в силах были вместить его радость и гнев... Кого-то проклинали, кого-то славил, благодарили аллаха за избавление от ханской власти, передавали слухи...

В один из этих взбудораженных дней отец вернулся домой сторбленным и постаревшим, заперся у себя и не выходил до вечера. Вечером приехал Константин

Степанович — при новой власти он сделался значительным лицом; они с отцом долго беседовали и, кажется, впервые за все время дружбы поспорили. Я слушал их разговор — так захотел отец.

— Я понимаю, вам нелегко смириться с утратой,— тихо говорил Лойко, глядя в невидящие глаза отца,— но вы — из самых образованных людей города, вы должны понять нас: революция — это равная жизнь для всех...

— Прекрасно, но я-то, я-то при чем? — потрясенно спрашивал отец, и мне было жалко и страшно видеть его слабость.— Вся жизнь... Все, что имею, собрано по копейке, ничего, понимаете, ничего не нажито обманом или чужим трудом... Ведь вы же видели сами, правда?.. Посмотрите на моего сына — для него трудился, собирал, чтобы ему жить по-человечески, чтобы ему не знать бедности! Я — старик, я болен, сколько мне осталось! — но что будет с ним? Я ли не видел нищих, я ли не говорил...

— О Бекджане и о будущем его не беспокойтесь,— утешал Лойко.— Старое богатство ему и не понадобится, он будет учиться — в этом его богатство и счастье... Революция, социализм — это ведь все и для наших детей, для молодых. Скоро вы сами увидите и поймете...

— Не могу, не желаю вас понимать! — крикнул отец и вдруг поднялся, схватившись за сердце, пошатнулся...

Мы с Лойко подхватили его, не дали упасть, усадили в кресло... В лице у отца не было ни кровинки, губы побелели...

— Не желаю... — прохрипел отец и закрыл глаза, будто не хотел видеть Лойко.

Константин Степанович поднялся, виновато попросился, вид у него был растерянный, а отец не ответил ему.

Провожая гостя, я спросил:

— Что же именно стряслось, я не понял из разговора.

— Маргеланский банк национализирован, перешел в руки государства,— объяснил Лойко.

Я знал, что в этом банке хранились все деньги отца и понял одно: мы стали нищими...

Лойко увидел, что мне не по себе, и добавил:

— Ты не тревожься о будущем... Поедешь учиться! Твоему отцу трудно понять революцию — он совсем

старик уже, и у вас разные пути... Для будущего твоего не богатство важно, а учеба, знания...— Он еще что-то говорил, но я плохо понимал его, да и не слушал — все мысли мои в эти минуты были об отце.

Так ничего и не ответив гостю и не попрощавшись с ним, поспешил к отцу. Он, по-прежнему неподвижный, полулежал в кресле, сжав кулаки и закрыв глаза...

Я подбежал к отцу, взял его за руку — и выронил ее...

— Папа, папочка, папа...— звал я и не дождался ответа.

Отец не перенес потери всего своего состояния, не выдержало сердце...

...Мама слегла от горя. Помочь, утешить и ободрить нас приехали из нашего кишлака родственники и друзья отца, дни проводили у маминой постели. Но удивительно — слова утешений будто давались им с трудом, зато с охотой рассказывали о собственных несчастьях — и было что послушать. Оказывается, несколько дней назад, ночью, на кишлак напали вооруженные всадники, и будто бы видели люди у них на шапках красные звезды. Разграбили эти всадники с десятков дворов, немало забрали разного добра, и угнали с собой коров, и увезли несколько молоденьких девушек. И особенно пострадал близкий наш родственник — мой дядя Алибек, брат отца, с детства немой... Его дом остался стоять пустым... Женщины, приехавшие из кишлака, плакали, рассказывая о беде, и дядя тоже беззвучно раскачивался в плаче, хоть и не мог сказать...

Я знал про него, что еще мальчишкой, чем-то сильно напуганный, он лишился речи; отец мой долго пытался вылечить его и, потерпев неудачу, возил брата к знаменитым у нас врачам. Но немота осталась. Дядя все слышал и понимал, мог читать и писать, но говорить ему не было дано.

Отца похоронили, родственники гостили у нас, оставив собственные несчастья, и старались помочь нашей осиротевшей семье, шли дни,— но правильно говорят: беда одна не приходит...

На сороковой день после смерти отца, когда собрались в нашем доме родственники и друзья помянуть усопшего, мама моя покинула эту жизнь... И я остался один, осиротевший и в осиротевшем доме.

Родственники мои рассудили, как быть со мной, и

решили так: ко мне должен был переехать и жить в нашем доме дядя Алибек.

Но как говорить с немым, как выразить, рассказать ему боль души, как получить ответ, в чем найти утешение?...

С дядей мы встречались за едой — он прекрасно умел готовить, а остальное время надо было чем-то занять... Я был так потрясен смертью родителей, что даже в шумной толпе на улице, среди праздника с песнями и музыкой чувствовал себя неприкаянным... Я не знал, куда пойти, тосковал и наконец нашел какое-то прибежище и покой в чтении книг, оставшихся после отца. Я почти перестал выходить на улицу и, кажется, потерял всякое представление о происходившем в городе, навещал лишь могилы отца и матери. Поднявшись утром и позавтракав с дядей, я забирался в комнату отца и читал, читал запоем. Дядя Алибек куда-то уходил на весь день, а вечером я читал ему вслух — совсем как недавно мама читала отцу... Дядя слушал и, если нравилось, довольно покряхтывал, если же нет — тихонько валился на бок и мирно засыпал, мой удивительный дядя...

Сколько так времени прошло — не помню, но окончилось это время неожиданно.

Однажды я стоял у могилы отца, и на душе у меня было страшно тоскливо, хоть вой, как бездомная собака. И тут кто-то взял меня за руку. Я обернулся — Лойко! После смерти отца я плохо думал о нем, но сейчас, когда я увидел его доброе худое лицо, жалость к себе сжала мне сердце, и я заплакал, уткнувшись ему в плечо...

В тот же день я уехал с Константином Степановичем в Хиву — он не бросил меня. Подготовившись с его помощью, я сделался учителем — стал работать на курсах ликвидации неграмотности. Хива была тогда столицей молодой советской Хорезмской народной республики. Хива бурлила, увлекала и притягивала, народ начинал строить новую жизнь, что-то разрушалось, что-то воздвигалось, кипели страсти, открывались новые горизонты, и я был захвачен стремительным потоком...

Ах, судьба сыграла со мной злую шутку! Зачем не остался я в тихом Ургенче, вдали от страстей, опасностей и забот? Ведь если б я не уехал с Лойко в Хиву,

жизнь, может статься, не послала бы мне тех испытаний, не стал бы я одиноким скитальцем в чужом краю, не измучил бы душу в тоске...

Но не дано нам знать наперед, чем обернется завтрашний день, и двигался я по жизни с закрытыми глазами. О, если б прозреть мне раньше, твердо стать ногами на землю, окрепнуть душой!.. Но нет — жизнь вела, несла меня, и я подчинялся ходу событий. Хотя, конечно, этого я не понимал — я пришел в себя, вернулся наконец к жизни после смерти родителей, будущее манило меня, я строил планы, собирался поехать учиться...

О радужные мечты, необузданные желания молодости, кого не манили вы призраками далеких столиц, и сверканием звездного неба, и пылью дорог, и шумом амударьинской волны на закате, и загадочной улыбкой девушки!..

О радужные мечты молодости, кого не обманывали вы и кто не предавал вас! Человек — раб судьбы своей... Нет! — скажете вы? Но я, я оказался рабом...

Я уже работал в Хиве на курсах ликвидации неграмотности, меня считали способным преподавателем, и когда в городе появились комсомольцы и образовался комитет комсомола, я готов был идти с ними.

Однажды на курсах, где я был учителем, объявилась комиссия из какого-то высокого правительственного учреждения. Комиссия проверяла всю работу курсов, и в том числе интересовалась классовым происхождением преподавателей. На мое счастье, в составе комиссии оказался и Лойко, он, видно, поручился за меня, поэтому мной особенно не интересовались, проверили только, как идет учеба. Когда комиссия закончила работу, председатель пригласил меня к себе. В кабинете находился Лойко. Он заговорщически подмигнул мне.

— Константин Степанович, — начал председатель комиссии, — хорошего мнения о ваших способностях, а мы — хорошего мнения о вашей работе здесь, на курсах. Нам нужна способная молодежь, вы неплохо рекомендовали себя, и мы хотим предложить вам продолжить образование. Мы отправляем в Москву (сердце мое радостно дрогнуло) группу молодежи — учиться. Вы можете поехать с этой группой.

От счастья я, как говорится, головой неба коснулся.

— Спасибо, спасибо... — благодарил я, а сердце пры-

гало в груди, и хотелось обнять их, председателя и Лойко, кричать от радости, бежать, оповестить весь мир о своем счастье — его и хватило бы на весь мир.

— Нам жаль отпускать хорошего преподавателя, но мы понимаем: через несколько лет нам понадобятся тысячи знающих людей, много тысяч, и времени терять нельзя. Не теряйте его и вы — жизнь открывает перед вами дверь в чудесный сад знаний. Дерзайте! Но это в будущем, а завтра приходите в комитет комсомола, мы говорили там о вас...

— Помнишь,— сказал мне Лойко,— помнишь мои слова, что знания — твое богатство? Не деньги, нет, а знания и работа для народа. Республика посылает тебя учиться!

Домой я прилетел как на крыльях, легкий и обновленный радостью. Здесь, в Хиве, я снимал комнату у старушки, сын которой, красноармеец, преследовал сейчас под Ходжейли отряд басмачей. Увидев меня, добрая старушка подумала, видно, что я заболел: взмок, запыхался — бежал от самых курсов...

— Вай, что с тобой, что стряслось, сынок?

— Все отлично, не бойтесь, просто я еду в Москву! — Я обнял старушку. — В Москву, понимаете?

— Как, как? Москов?!

— Да, да, в Москву, там, в Москве, живет Ленин!

— Вай улай! — Изумленная старушка забыла закрыть рот, я же отправился к себе в комнату и стал перебирать свои вещи, не зная, что укладывать в первую очередь.

И вдруг я сообразил: «Дядя! Нельзя же уехать, не известив его!» Я написал короткое письмо и отправился на базар — там можно было встретить арбу с зерном, отправляющуюся в Ургенч.

Я заплатил арбакешу, объяснил, кому передать письмо, и вернулся к себе.

Ночь тянулась без сна, счастливые мысли не давали мне заснуть, жизнь в столице представлялась раем. О чем я мечтал в те безмятежные часы? Кажется, я прожил в своем воображении целую счастливую жизнь. Если бы эти мечты сбылись! Но не дано нам знать наперед свою судьбу...

III

И на следующий день ощущение праздника не оставляло меня — радостные события сменяли одно другое, как в счастливом сне.

В комитете комсомола меня приняли как товарища по общему делу, как своего — да так оно и было в действительности. Я узнал, что в Москву едут учиться еще двенадцать человек и что вся группа отправляется через два дня... Как провести их, как дожидаться отъезда? — время, прежде несшееся вскачь, теперь будто застыло.

Простившись с работниками комитета, я брел в задумчивости по улице — и вдруг звонкий девичий голос окликнул меня.

— Бекджан!

Я обернулся и увидел девушку в кожаной куртке, в каких ходили у нас в городе комсомольцы; девушка была очень красива, и почему-то запомнились мне тугие ее косы, черной короной уложенные вокруг тубетейки. Я смотрел — и узнавал, и не узнавал, и, наверное, глупо тарасил глаза, потому что девушка рассмеялась и спросила:

— Не узнаешь?

Но я увидел уже знакомую ямочку на щеке и обрадовался:

— Гавхар!

Мы подали друг другу руки.

— Что, сильно я изменилась?

— Очень! Совсем большая стала, а?

— Ты тоже переменялся... Я не сразу поняла, что это ты. Гляжу — и понять не могу, кто ж такой? То ли ты, то ли похожий кто...

Она снова рассмеялась, а я слушал и все не мог отвести от нее взгляд.

Наконец я почувствовал неловкость — нельзя же любоваться девушкой и ничего не говорить ей. Я смущенно откашлялся и спросил:

— Слушай, а ты здесь как оказалась?

— Да я вот тут работаю, — она кивком указала на комитет комсомола. — А ты?..

— А я уезжаю... через два дня. В Москву, учиться!

— Как, в Москву?! — Гавхар радостно захлопала в ладоши. — Я ведь тоже еду!

— Правда?! — Я схватил ее за руки и счастливо смеялся, а говорить больше ничего и не нужно было уже... — Слушай, что мы тут стоим, идем пройдемся по городу, ведь надолго уедем...

— Идем... Подожди меня здесь, я скажу на работе.

Гавхар побежала к дому комитета комсомола, а я, как во сне, глядел ей вслед...

Гавхар была родом из того же кишлака Чалыш, что и я, и знали мы друг друга с детства. Дом их стоял у самого берега Амударьи, отец ее рыбачил и еще работал в мастерской, где ремонтировали баржи, ходившие по реке до самого Арала, — но все равно семья их жила бедно, гораздо беднее нас. Я любил играть на берегу, у дома Гавхар, и подружился с ней.

Гавхар очень уж сильно отличалась от всех других девочек кишлака и пользовалась неслыханной свободой — как я сейчас понимаю, оттого, что отец ее работал в мастерской вместе с русскими рабочими и дружил с ними. Рабочие любили Гавхар и, когда она приходила к отцу в мастерскую, старались угостить чем-нибудь повкуснее — то пряником, то куском сахара. А вот родственники наши не одобряли ни Гавхар, ни ее отца; меня даже бранили, если становилось известно, что я был в мастерской... Но мне и горя мало! Гавхар любила принимать участие в наших мальчишеских затеях и играх, но часто мы с ней, оставив приятелей, уходили вдвоем вдоль реки, далеко-далеко, или смотрели, как работают в мастерской... Когда я выходил из дома, я всегда знал, где найти Гавхар: летом чаще всего мы сидели вдвоем на берегу Амударьи в зарослях джиды, болтали, мечтали, смеялись, выдумывали разные разности, и нам не было скучно друг с другом.

А когда наступали сумерки и воздух наполнялся стрекотом кузнечиков, и начинали свой концерт лягушки, а от кишлака слышалось бляенье ягнят, мы поднимались на холм возле зарослей джиды и слушали в прохладном воздухе нехитрую эту мелодию, и было нам страшно и хорошо в темноте среди звуков ночи, и все это больше сближало нас...

Однажды, как раз перед нашим отъездом в Ургенч, Гавхар упала с дерева и вывихнула ногу. Позвали скорей моего отца, и он сердито ворчал — никогда, мол, не видал такой озорницы, безобразия какое!

А мама моя смеялась и сочувствовала. Может, даже завидовала такой свободе, а?

Через несколько дней мы всей семьей уезжали в Ургенч.

Я пошел проведать Гавхар — она лежала на веранде, на тахте, и скучала и маялась без беготни и игр. Увидела меня — обрадовалась, заулыбалась, попробовала подняться. Но разговор вышел грустный.

— Значит, уезжаете?

— Да, завтра...

Она молчала, я тоже, — у меня комок подступил к горлу... Ну зачем, для чего родители переезжают в Ургенч? Чем здесь было плохо? Как я не любил их в эту минуту, как хотел остаться!

— А у нас корова отелилась! — сказала вдруг Гавхар.

— Когда?

— А ночью... Теленочек красивый такой, я за ним ухаживать буду... А завтра мы молозиво будем варить. Ты любишь?

— Да...

— Я тоже... Я уже ела один раз, — ох, до чего сладкое! — она даже зажмурила глаза от удовольствия. А когда открыла их, они снова были грустные. — Значит, мы теперь больше не увидимся?

— Как... не увидимся? — растерялся я.

— А разве... разве вы еще приедете?

— Не знаю...

— Ну, когда вернешься, я уже поправлюсь, вместе пойдем джиду собирать, — в этом году много-много соберем... ее много в этом году... А этот Ургенч, куда вы едете, далеко от нас?

— Папа говорит, целый день ехать надо.

— А я вот поправлюсь и тоже приеду в Ургенч, мой папа обещал взять меня!

Гавхар улыбнулась, и я успокоился. На прощание я принес ей подарок — выстругал деревянный кинжальчик, покрасил грифелем от карандаша, и получилось — будто стальной; я незаметно сунул кинжальчик под подушку Гавхар.

Дома уже сердились, ожидая меня: пора трогаться, куда пропал! Я взобрался на арбу, уселся на вещи и с высоты увидел: у ворот своего дома стоит, опираясь на палку, Гавхар — допрыгала, что ли, на одной ноге? У

меня зашипало в носу и на глаза наворачнулись слезы...

Арба тронулась, и Гавхар смотрела нам вслед, а я смотрел на нее, пока туча дорожной пыли, взбитой колесами арбы, не разделила нас.

С тех пор минуло несколько лет, и я не видел все это время ни Гавхар — так ей и не удалось приехать в Ургенч,— ни ее отца... И вот теперь не сразу узнал ее — тощий черненький чертенок с косичками превратился в красавицу...

Но вот Гавхар вернулась, и мы пошли по улочкам нашего города, сами не зная куда,— девушка впереди, а я, стесняясь и все еще немного робея, чуть сзади... Вышли к ханскому дворцу — горячий воздух, казалось, дрожал у раскаленных под солнцем глинобитных стен.

Миновали духовное училище — медресе, теперь в этом здании была школа, и оттуда почему-то вкусно пахло жареной рыбой. Я потянул носом и сказал:

— Давай завернем на базар, а?

— Да,— согласилась Гавхар,— я тоже голодная.

Базар напоминал большой муравейник, со своей особо устроенной жизнью, приливами, отливами, течениями и водоворотами. Мы едва не потеряли друг друга. Наконец добрались до цели — и наградой нам были куски только что поджаренного сома на глиняной плошке. Потом мы ели, обрывая по одной, длинные, с мизинец, и прозрачные виноградины, и, кажется, я в жизни не ел ничего слаще. Гавхар не отставала от меня...

— А там...— она помолчала, давая мне время сообразить, где «а там»,— ...а там есть виноград, как ты думаешь?

— Давай захватим отсюда...

Вдруг базар вокруг нас угрожающе загудел, толпа с криками хлынула к воротам.

Гавхар встревожилась.

— Идем, посмотрим, что случилось.

— Идем.

Вместе с толпой нас вынесло на улицу.

— Что случилось, куда все бегут? — спрашивал я у людей, но они, кажется, и сами не знали, почему опустел базар и что ожидает нас там, куда мы направляемся.

Вот мы поравнялись с караван-сараям, и движение за-

медлилось. Я почувствовал, что толпа накалена. Прислушался к крикам:

— Выше его подымите, чтоб всем видно было!..

— На арбу, его, проклятого богом, поставьте, на арбу!..

Толпа качнулась, подалась назад, отступая от караван-сарая. В образовавшемся круге встал на что-то, поднялся над головами незнакомый мне человек, в халате, пожилой и седоусый. Рядом с ним появилось еще несколько мужчин — и у одного из них руки были связаны за спиной, а черная папаха лихо надвинута на самые глаза. Его сразу признали. Толпа грозно загудела, люди тесно обступили возвышение, где стояли, видные всем, связанный человек и сопровождавшие его, замелькали поднятые кулаки, раскрылись в крике рты, загорелись глаза... Послышались ругательства и проклятия, забила в истерике женщина...

— Лю-у-уди! Тихо! — закричал с возвышения седоусый, и голос его слышен был в реве и плаче. Он поднял над головой руки. — Лю-у-у-уди!

Толпа поутихла, только всхлищивала поблизости женщина.

— Слушайте, люди! — бросил в толпу седоусый — его, видимо, знали и потому слушали. — Есть здесь кто-нибудь, кто не знает этого человека?

Он показал на связанного в черной папaxe.

— Нет, нет! — раздалось несколько голосов у возвышения.

— Кто же перед вами, скажите, люди!

— Палач! — в несколько голосов будто выдохнула толпа.

— Да, это палач! Он перед вами! Палач хана! Он убивал вас, люди, сегодня он в ваших руках! Что делать с ним, какого наказания он достоин?

— Смерть! — снова выдохнула толпа.

— А ты что скажешь? Подойди сюда! Вот он, перед тобой... — и пояснил толпе: — У этой несчастной двух сыновей зарезал, отродье собаки!.. Говори же! Вот он, перед тобой, — убийца твоих сыновей!

Связанный попятился.

Но старуха не поднялась из толпы, я услышал лишь сдавленный голос:

— Пусть ослепнут мои глаза, если еще увижу его!

— Грех говорить так! — прервал ее седоусый. —

Пусть он не увидит тебя — правильно я говорю, люди?

Толпа загудела, палач втянул голову в плечи. И вдруг я увидел его глаза — каким огнем, какой злобой горели они!

Говоривший с толпой старик придвинулся к палачу, сорвал с его головы папаху, бросил вниз. Легкое движение толпы, и клочки папахи пропали под ногами.

Палач нагнул бритую голову и стал похож на быка, готового броситься и растоптать.

Седоусый снова обратился к толпе:

— Аминь! Аллах велик! — Он поднял руки, будто в молитве.— Аминь! Возьмите его!

Сильным пинком он толкнул палача вниз, под ноги ждавших этой крови людей...

— Господи, как же...— я не мог даже договорить.

Гавхар обернулась ко мне, лицо ее побелело.

— Да, его нужно было судить. Но кто из этих людей сейчас поймет...

Толпа с криком боли и торжества сомкнулась, и уже не было пустого места у возвышения, а было лишь колышущееся море голов и движение...

Вдруг послышался вопль старухи:

— Мне! Дайте мне!..

Гавхар потянула меня за рукав, и мы стали выбираться из толпы. Молча прошли по улочкам, вышли за городскую стену и, не сговариваясь, направились к небольшому озеру, поблескивавшему невдалеке, и все это время мы не могли говорить друг с другом, чувствуя себя причастными к расправе там, на городской площади...

— Страшно...— первым заговорил я.— Один — и толпа... Этим и страшен самосуд — пощады просить не у кого, на милосердие или жалость надеяться нечего...

— А он... он вспоминал о жалости? — Гавхар приостановилась, лицо ее побледнело от гнева.— Ты думаешь, он считал за людей тех, кого убил, или посчитал бы людьми нас с тобой?.. Такие, как он,— голос ее звучал тише,— такие звери убили моего отца... А маму... связали, и руки и ноги скрутили — и в огонь, в горящий дом,— сожгли в собственном доме...

Я слушал тихий рассказ Гавхар и не мог поверить — не ей, а себе, что вижу и слышу ее, что она стоит передо мной и говорит наяву, а не в кошмарном сне... Я же знал их, я же... господи, да как же это может быть!

— Как же это может быть! Когда?.. И кто?

Мы двинулись дальше, к озеру, и Гавхар рассказывала не глядя на меня.

...Это случилось почти два года назад. На кишлак напали басмачи, неожиданно — кто-то из местных предупредил их, когда соберется и будет заседать кишлачный комитет. Схватили всех и тут же, не рассуждая долго, всех расстреляли, и отца Гавхар тоже, он был председателем комитета... Потом согнали жителей кишлака, и на глазах у них подожгли дом председателя, и связали мать Гавхар, и бросили в огонь... «Кто выйдет за большевика — каждую ожидает такая судьба! От нас не спрячешься!»

— Их поймали?..

— Нет. Сумели уйти от погони... А ты говоришь самосуд, страшно. А я бы — своими руками задушила... За отца, за маму, за всех наших... Совсем одна я теперь осталась, вот... — печально закончила она.

— Прости меня... — Я хотел еще добавить — пусть она не думает, что одинока, я буду охранять и защищать ее, — но не посмел сказать, только подумал и пообещал себе.

Наконец мы подошли к озеру и присели на траву — плакучая ива опустила тонкие ветки к самой воде, было тихо и грустно. Гавхар сняла свою кожаную курточку, она сидела по-восточному, скрестив ноги, и закрыла глаза, то ли прислушиваясь к чему-то, то ли просто отдыхая. Я хотел заговорить с ней, она не ответила, сидела задумавшись. Так мы просидели долго, наверное с час. Но я хорошо знал Гавхар и помнил, что она и в детстве была такая: что-нибудь встревожит ее — притихнет и долго-долго сидит, спрятав лицо в ладонях... Да, но тогда я знал, что взволновало ее, а сейчас я только гадал о том, где ее мысли, — в кишлаке ли, в местах нашего детства, или у пожарища — всего, что осталось от ее дома, или у могилы родителей, или, может быть, она уже в Москве? Как хорошо, что мы едем вместе!

Вечерело. От воды потянуло прохладой, набежал, поиграл прядкой волос Гавхар и улетел куда-то ласковый ветерок. Где-то поблизости заквакали, залились на разные голоса лягушки. Гавхар надела кожанку, взглянула на меня, улыбнулась:

— Помнишь, сколько джиды росло на берегу?

— Гм... ты с какого дерева тогда свалилась?

Гавхар засмеялась:

— Вовсе и не там... Это когда я воровала джиду...

— Господи, зачем же воровать — в каждом дворе полным-полно, везде растет!

— Да, но я охотилась за чилан-джидой, она особенно вкусная, — принялась объяснять Гавхар. — Для мамы... Она не знала, конечно, что без спросу таскаю... Настаивала она эту чилан-джиду и пила... Полезно для здоровья, говорят. Только вот росла эта джида в саду у твоего дяди, больше ни у кого не было. Я сколько раз собирала — понемножку, никто и не замечал... — А тут вот спрыгнула неудачно, показалось, дядя твой в сад пришел...

— Что ж меня не попросила, я бы сам для тебя наврал!

— Постеснялась я... И так твоя мама, я видела, целое сито унесла от дяди в тот день...

Я погладил руку девушки, она печально улыбнулась.

Мы еще долго разговаривали в этот вечер, вспоминали детство, родителей, наш кишлак... За то время, что мы не виделись, и Гавхар и я потеряли родителей, и общее горе сближало нас...

Стемнело, на бархатном небе разгорелись крупные звезды, показался неяркий месяц; вода засеребрилась в лунном свете; протяжная светлая песня послышалась за озером — мы замолчали, прислушиваясь, а потом, не сговариваясь, обошли озеро. В темноте мы разглядели лишь удаляющуюся тень: человек, видно, разобрал запруду в арыке, пустил воду на поле и уходил дальше.

— Красивая песня, — сказала Гавхар, — красивая и счастливая... А ты — счастливый? — вдруг спросила она.

Я улыбнулся.

— А ты?

— Я — да. Я очень счастливая...

— И я тоже...

Она коснулась моей руки, и сердце мое запрыгало в радостном волнении.

Когда мы вернулись к комитету комсомола, где жила Гавхар, было уже поздно, город казался вымершим, и было трудно представить, что днем эти улицы на-

полняла бурлящая разгневанная толпа... Все спокойно было и тихо...

— До свидания!

— Увидимся завтра?

— Нет, я завтра должна съездить в Хазарасп — родители одной из девушек не хотят отпустить ее в Москву... Но послезавтра я буду ждать тебя...

— До свидания...

Гавхар ушла к себе в дом, я же побрел по сонным улицам, не видя, куда несут меня ноги.

Я чувствовал себя счастливым избранником, баловнем судьбы: я повстречал Гавхар, мы вместе едем в Москву! Позади останется этот, так и не ставший мне родным, город, его пыльные закоулки и глиняные домишки, чахлые, полузасохшие деревья и нескончаемая духота, наполненная страстями и схватками тревожная жизнь — все, все останется позади.

А впереди — учеба, Москва, и Гавхар будет рядом со мной...

Я тихонько брел куда-то, кажется, даже начинал петь, и не видел вокруг развалившихся глиняных стен, — меня окружали пышнолистые деревья и дивной красоты цветники, а среди них поднимались белые дворцы... Так я представлял себе Москву...

Я брел, как во сне, и понимал, что это сон, и не хотел, чтобы он прервался, — никогда в жизни еще не было мне так хорошо.

У бывшего ханского дворца — теперь здесь помещалось правительство республики — меня окликнул грубый голос:

— И не стыдно тебе, парень! В твои-то годы так напиваться! Куда смотрит твой отец!

Я очнулся от грез и увидел перед собой старика с ружьем — сторожа у ворот дворца.

— Да не пил я, отец, не беспокойтесь!

— Гм, вроде на пьяного ты не похож! — удовлетворенно заметил старик и добавил, довольный: — А я вот, правду говоря, не без греха — выпиваю, случается со мной, да... Сейчас-то я, конечно, как стеклышко, — он покачнулся, — на посту я стою, вот! Видишь, — он поднял ружье, — вся власть у меня, вот! В этих трудовых руках! Но когда радость в доме — отчего ж не выпить! Сын у меня уезжает учиться в Москву, не слыхал?..

— В Москву?

— Ну да... Не знаешь его? Сам, наверное, пездешний, да? Его тут все знают, моего сына,— Джуманазар зовут.— не слышал? Так я — его отец! Знай: учиться едет мой сын Джуманазар, послезавтра его провожаю — всего двенадцать их едет, и мой сын — там...— Старика так и распирало от радости,— видно, не будь он на посту, тоже не прочь был бы, как и я, побродить по городу и напевать что-нибудь себе под нос...

— Скажи ты мне, сынок, вот что — какое, по-твоему, по-молодому, самое лучшее ученье? Сам-то чему учен, а? Чему сына научить?

— Не знаю, отец, он сам выберет.

— Да глуп еще он! «Хочу, говорит, при машине быть... На пароходе плавать по Амударье хочу...» Я ему: «Дурень ты, говорю, что ж ради машины в такую даль забираться, в Москву ехать? Нет — ты учись самому лучшему ученью, а самое лучшее ученье — у товарища Ленина! Не сделаешь по-моему — не дам тебе родительского благословения и в Москву не пушу!»

Старик, видно, был очень доволен собой и ждал одобрения своим словам. Когда я, соглашаясь, закивал головой, он внушительно закончил:

— Вот и ты, сынок, с пути не сбивайся! И не пей ни-ни!.. Погоди-ка! — Он вернулся к своей скамье у ворот, достал из-под нее мешок, добыл оттуда дыню и отрезал мне тяжелый ломоть.— Бери на здоровье!

Домой я вернулся поздно. Моя хозяйка, старая Султанпаша, не ложилась, ожидая меня.

— Слава аллаху! Пришел наконец! — обрадовалась она.— А я уж думала, не уехал ли, часом, и попроситься не зашел...

— Ну что вы!

Но добрая старушка уже не слушала меня, суетилась у очага и скоро поставила передо мной ужин — яичницу с кислым молоком. Села рядом и ласково, как на сына, смотрела на меня — как я ем. А я был голоден, еда была вкусна, и яичницы вмиг не стало...

Кажется, это было в последний раз — я чувствовал себя дома, будто у родных, и ел пищу, приготовленную для меня заботливыми руками...

IV

Утром я отправился на курсы, где работал, получил расчет и простился с товарищами. Все завидовали мне, моей поездке, и я стал уже считать часы, оставшиеся до отъезда.

Когда я вернулся домой, тетушка Султанпаша встретила меня на улице и предупредила, что пришел какой-то человек и ожидает меня.

Смутное беспокойство шевельнулось во мне, когда я увидел чернобородого мужчину в годах, увидел щелочки его глаз. Будто взгляд его кольнул меня...

— Вы Бекджан? Я привез письмо от вашего дяди. Прочтите при мне.

Я удивился, взял письмо. Никогда дядя не писал мне, что-то особенное должно было случиться...

Я встревожился уже не на шутку.

«Бекджан, мальчик мой,— писал дядя,— я получил весточку от тебя и узнал о твоей поездке. Не хочутайть от тебя свои мысли: не по душе мне твоё намерение. Ты знаешь о моей любви к тебе, плохого не посоветую, и говорю откровенно и надеюсь, что простишь не обидишься на меня, не отвернешься...

Я хотел бы приехать к тебе, увидеть и обнять тебя, но человек нынче не хозяин своей судьбе!

Как раз в тот день, когда пришло твоё письмо, власти выгнали меня из дома твоего отца, и я должен уйти из Ургенча. Власти описали имущество и тут же увезли: дом, библиотека, все хозяйство разорены... Что я, несчастный, мог сделать? И еще ты не знаешь: за два дня до того приехали люди из нашего родного кишлака и принесли скорбную весть — все мои земли, и дом, и все имущество власти отобрали себе... Теперь мы нищие с тобой, мой Бекджан... Что мне остается, горемыке,— пойду по миру, буду искать себе пристанище. Но я еще вернусь! Еще найду я тех, кто разорил меня, лишил дома и земли!

Власти говорят, что я — бай, что, мол, как паук, сосал кровь дехкан... Ну, обо мне разговор впереди, они меня еще не раз вспомнят,— но в чем провинились твой отец, твоя мать и ты сам? Что плохого твой отец, твоя мать сделали этим голодранцам! Лечили их, призирали, кормили — те, как бешеные псы, кусают дающую руку! Почему ты, мой племянник, должен быть нищим?

Перед уходом побывал я у могил твоих отца и матери. Кто теперь присмотрит за ними, кто зажжет свечильник в изголовье?.. Не пора ли вернуться к могилам родных и защитить их от позора?

Впрочем, ты человек взрослый и, конечно, подумаешь, прежде чем сделать важный шаг. Скажу одно: я на твоём месте не поехал бы в их Москов — не поехал из уважения к памяти отца и матери, к их погубленным жизням. Пусть отправляются туда голодранцы, им нечего оставить здесь.

И ещё предупреждаю: ехать опасно, мало ли что может случиться в дороге...

Если захочешь увидеть меня, тебя проводит тот человек, что привез письмо, или можешь спросить обо мне в Ургенче у Бердара-сапожника...»

Меня словно окатили ледяной водой, я сам смотрел в растерянности на незнакомца, мысли мешались в голове. Наконец я спросил:

— Где сейчас дядя?

— Два дня пути.

Я не знал, что делать.

Приезжий поднялся.

— Если понадобится, найдешь меня на базаре.

Он ушел, а я все не мог сообразить, что же мне делать. Наконец я словно очнулся. Бросился на курсы, — там у нас были на случай хозяйственных надобностей лошадь и арба, а при них арбакеш. Я упросил его дать мне лошадь до завтрашнего утра и, не тратя больше времени на сборы и раздумья, отправился в Ургенч.

К вечеру я добрался до нашего с дядей дома, принадлежавшего раньше моим родителям. Первое, что я увидел, — настежь распахнутые ворота... Из дома, влоча за собой наш самовар — отец привез его из Ташкента, — вышла незнакомая старуха...

— Бабушка, что это вы делаете? — окликнул я ее.

— Ничего, сынок, домой вот иду. — Старуха смотрела удивленно.

— А это вы зачем взяли?

— Вах, а я и не пойму, о чем ты! — Она сладко заулыбалась. — Да ведь почти ничего и не осталось в доме... Пустой стоит. А я вот — на память об Айпаше взяла, чтоб кому чужому не досталось. А меня она так

любила, так любила!.. Да и хозяев-то нет, кому он теперь нужен,— она ласково поглядела на самовар.— Сын хозяйский уехал куда-то, и не слышать его, немой Али тоже уехал, говорят... Так и стоит дом без призрения... Да сам ты кто будешь, сынок?..

— Я Бекджан, племянник немого Али и сын Айпаши...

— Вай улай! — Старуха испуганно прижала самовар к груди, потом, виновато улыбнувшись, повернулась к дому:— Сейчас чай поставлю!

Я вошел в дом. Окна были распахнуты, стекла выбиты, на полу — грязные следы, ошметки глины,— видно, побывало здесь немало людей. Разлетевшиеся листы какой-то книги... В кабинете отца книги лежали на полу, разодранные, без переплетов...

В душе моей не осталось ничего — только горечь и гнев. Я попытался разобрать книги, рукописи — мне попались Фараби, Беруни, Авиценна... Попались сборники газелей,— мама читала из них по вечерам отцу...

Наконец я собрал все, что сохранилось из отцовской библиотеки, перевязал и погрузил на лошадь. Старуха спросила:

— Больше не придешь, сынок?

— Нет,— сказал я.— Не вернусь... А самовар возьмите себе... Здесь он никому не нужен...

— Спасибо, сынок, да будет счастливым твой путь! А чай-то, может, вскипятить, а?

Я вывел лошадь на дорогу и пошел, повел ее в поводу... Пошел, не видя ничего вокруг... Мысленно я был в нашем осиротевшем, разоренном доме... Кто же надругался над нами? Неужели большевики?

Я вспомнил Константин Степановича, вспомнил товарищей по курсам, вспомнил Гавхар... Нет, это сделали не такие люди! А какие?

И я увидел площадь у караван-сарая, себя и Гавхар среди распаленной толпы, ханского палача с окровавленным лицом... Да, эти люди могли разорить наш дом... Я снова вспомнил Лойко — как он стоял перед отцом и как отец, уже чувствуя в себе, наверное, смерть, спрашивал его:

— Чем я-то провинился? В чем моя вина?

Ведь он помогал всей махалле и лечил всех нищих, я же помню! Может, это достойно наказания, да? А отобрать и разорить наш дом — может, это лекарство

от бедности? Средство сделать богатой ту старушку?

Я услышал, что разговариваю сам с собой вслух, и очнулся. Оказывается, ноги привели меня к кладбищу.

Начало темнеть. Я привязал лошадь к дереву и вошел за ограду... И сразу меня обступило особое молчание, а воздух стал полон особенных запахов, они что-то мучительно напоминали... и мне вдруг почудилось, что я — в нашем доме, а в соседней комнате — мама... Она каждый вечер сжигала у себя несколько сухих благородных травинок «исирьк», я хорошо запомнил этот аромат, и сейчас он слышался мне в теплом неподвижном воздухе... Я шел по тропинке, и вишневые деревья вдоль нее низко и печально склонили ветви, а свет луны пробивался сквозь них и серебряными бликами, будто рассыпали целый поднос монет, ложился на песок. Мне показалось, что деревья похожи на могильщиков — стоят, скорбно скрестив на груди руки, и не движутся — боятся потревожить святую тишину...

Я свернул к могиле отца. Терпкий аромат трав смешивался здесь с теплым запахом отдыхающей от жары земли, у меня закружилась голова и запершило, зашипало в горле... Я опустился перед могилкой на колени и заплакал, горько и безутешно...

Раньше, давным-давно, когда мы жили здесь, я боялся один ходить на кладбище. Но сейчас я не замечал ни жуткой тьмы, окутавшей затаившиеся деревья и кусты, ни мертвящей тишины, ни своего одиночества... Я думал об отце с матерью, вспоминал их, свое счастливое детство и еще раз прощался с ними... Я зажег свечу на могиле отца и на могиле мамы, я очистил обе могилы от колючек, и я долго стоял у святых для меня могил на коленях...

В Хиву я вернулся под утро, напугал своим появлением старую Султанпашу, отдал ей поводья, бросился к себе в комнату и, не раздеваясь, повалился на кошу.

Смерть родного дома была как бы частью смерти родителей, обе потери слились, и я, в мальчишеских горьких мыслях своих, винил во всем Лойко, власти, большевиков, мне почему-то все вспоминался окровавленный палач там, на площади.

Утром меня разбудил Константин Степанович.

— Поздно спишь, смотри, отъезд проворонишь!— Он широко улыбнулся, веселый был...

— Я поздно лег... В Ургенч ездил...— Ответной улыбки у меня не получилось.

— Мне хозяйка уже сказала. Хорошо сделал, что книги привез... Пригодятся не раз.

Я вышел во двор умыться, и мне не хотелось возвращаться в дом и говорить с Лойко — как будто он сам приложил руку к тому, чтобы мой родной дом сиротливо глядел на мир окнами без стекол...

Наконец я заставил себя вернуться в комнату. Тетушка Султанпаша поставила уже для нас миски с кислым молоком, принесла стопочку лепешек. Я не мог есть...

— Вы отправляетесь в полдень,— рассказывал Константин Степанович.— Доберетесь до Чалыша, потом лодкой вниз, к Аральскому морю, и на пароход... Там на поезд — и Москва не за горами!— Он засмеялся и стал пробовать угощение тетушки Султанпашы.

— Да, я тебе принес... потом посмотришь,— он показал на сундук — там лежало что-то завернутое в бумагу.— Со студенческих лет сохранял... В Москве пригодится...— Он грустно покачал головой:— Жил бы сейчас твой отец, сколько радости бы узнал... Сын в Москву едет!

— Жил бы сейчас мой отец, он бы не радовался...

Константин Степанович встревожился:

— Что случилось, Бекджан?

— Я был вчера в Ургенче и видел разоренный дом моего отца!

— Ваш дом? Кто это сделал?

— Кто... Власти. Большевики!

— Бекджан, ты понимаешь, что говоришь? Впрочем... расскажи все сначала — все, что знаешь.

Когда я рассказал, он побелел от гнева. Я решил, что не стоит упоминать о письме дяди,— ведь все подтвердилось.

Лойко был взбешен.

— Невероятно! Ну, от таких «большевиков» мы быстро избавимся! Ты не волнуйся, Бекджан,— дом и имущество тебе вернут, мы все проверим. Все знают: твой

отец не был нашим врагом... Но погоди-ка... А дядя твой,— он ведь жил в вашем доме,— ничего не сообщил тебе?

Я промолчал.

— Понимаешь... В Чалыше было несколько похожих случаев... А теперь вот в Ургенче... Ну, ладно, не беспокойся, мы все расследуем и накажем виновных... Все, что случилось, не должно сбивать тебя с прямой дороги, запомни!— Он поднялся, достал часы, поднял крышку.— Пора... Через час жду тебя в комитете комсомола.

После разговора с Лойко на душе у меня полегчало. Конечно, такие, как он, большевики не тронут дом моего отца, врача, лечившего бедняков...

Взгляд мой упал на сверток на сундуке, я вспомнил слова Лойко о подарке и развернул бумагу. Увидел — почти новые студенческие тужурка и брюки. Я обрадовался, скорее надел — пришлось точно в пору.

— Вах-вах, до чего красив! — одобрила тетушка Султанпаша, когда я позвал ее полюбоваться на мой новый наряд.— Этот русский... ты для него все равно что сын, я вижу...

— Он друг моего отца и мамы.

— Да будет его дорога гладкой! А скажи, сынок,— Султанпаша заговорила тише,— Ленин, он тоже урус... или наш, правоверный? Может, татарин?

— Русский он,— сдерживая улыбку, объяснил я.

Старушка вздохнула и покачала головой:

— Ну что стоило всевышнему аллаху сотворить урусов правоверными... Такие хорошие люди...

— А что бы вы сказали, если бы аллах вас превратил в кяфира — иноверца?

— Что ты, что ты! — старушка испуганно замахала руками.— Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его! Не дай, всевышний, опозориться на старости лет!..

Стараясь не обидеть тетушку Султанпашу, я удерживал улыбку, но все же рассуждения простоватой старушки немало позабавили меня.

У комитета комсомола меня встретила Гавхар:

— Что ж ты так долго собираешься! А я только что из Чалыша и жду тебя... Пошли скорее...

Я смотрел на нее и не мог глаз отвести — до того была она хороша! И светлое платье, и белые туфель-

ки, и тюбетейка с белыми цветами, и черная тугая ко-
са на высокой груди, и шаловливые искорки в глазах...
Я таял от восторга и глупо молчал, а Гавхар, кажется,
рассердилась:

— Ну что, языка лишился, да?

— Ты... я... ты... так и поедешь, в этом платье? —
наконец нашелся я.

— Тебе не нравится? Я — не нравлюсь? — Она по-
краснела от собственной смелости.

— Смотри, украдут тебя по дороге, до Москвы не
доедешь!

— Да ведь ты меня будешь сторожить! Кто ж по-
смеет! — Она рассмеялась, схватила меня за руку: —
Побежали, на собрание опаздываем.

В комитете комсомола собрались провожающие —
отцы и матери, и друзья, и городские комсомольцы, и
партийцы.

В Москву отправлялось нас тринадцать человек —
тут мы наконец собрались все вместе. Двое из нашей
группы были туркмены, и еще была девушка-туркмен-
ка, один — каракалпак, остальные — узбеки.

Выступали провожающие, говорил секретарь коми-
тета комсомола, говорила Гавхар, под конец выступил
Лойко — ему хлопали больше всех, кто-то плакал, — но
я не слышал ничего и глядел только на Гавхар, видел
только ее, а все остальное было как бы в тумане, и зву-
ки доносились как бы издали.

Когда собрание закончилось, я пошел проститься с
Лойко. Мы обнялись, как отец с сыном.

— Вы — наши первенцы, — сказал он, — с вас — са-
мый большой спрос. Не подкачай! И пиши — сам зна-
ешь, я тебе теперь вместо отца!

Я прижался головой к его груди.

— Спасибо вам за все!

— Счастливого пути тебе, Бекджан!

Во дворе уже стояли арбы, разукрашенные кумачо-
выми полотнищами. Я увидел своего ночного знакомца,
старика сторожа, он провожал высокого молодого пар-
ня, а тот поторапливал отъезжающих.

Меня окликнули — я обернулся и увидел тетушку
Султанпашу, она стояла у ворот подле большого таза,
накрытого материей. Я подошел к ней.

— Вот, возьми на дорогу, путь неблизкий. И там, на
арбе, еще мешочек с боорсаками... — Она вытерла сле-

зы.— Ты ведь как сын мне... Да будет гладкой твоя дорога! — Она опустила голову и тихонько стала молиться — просить у аллаха счастья для меня в далеких краях...

Наконец арбы тронулись, и вот уже Хива осталась позади, а путь мы держали к Чалышу, кишлаку моего детства, моей родине и родине Гавхар.

Добрались мы туда к вечеру. Я сразу узнал густые заросли джиды на берегу реки... И будто ничто не переменялось здесь за минувшие годы: все было привычным и родным, будто я только вчера бегал мальчишкой по этим пыльным улицам. Те же низенькие покосившиеся дувалы, те же домишки с плоскими крышами, те же клочки полей... Но над железной крышей дома в центре кишлака поднят был красный флаг. У этого дома мы и остановились.

Нас сразу окружила толпа, Гавхар разговаривала со своими друзьями, я же так и не слез с арбы — лишь смутно припоминал некоторых стариков, большинство же людей были мне незнакомы, и я чувствовал себя чужим среди них. Меня тоже никто не помнил...

И странное это было ощущение: глинобитные домишки, пыльные улочки, старые могучие чинары, богатые сады за дувалами — все переносило меня в далекий мир детства; но вот люди — люди были другие, на лицах их я видел гордость, в поведении — независимость, в разговорах — смелость... Я хотел бы стать рядом с ними, говорить с ними как с друзьями — так говорила с нашими сверстниками Гавхар, — но я не узнавал никого и меня не узнавали в родном моем кишлаке, и что-то удерживало меня, я не поднимался с арбы и не подходил к людям.

Тем временем долговязый Джуманазар, сын старика сторожа, развел у реки костер, и пора было готовить ужин.

— Бекджан, где твой таз? Иди сюда, помоги! — услышал я чистый голос Гавхар, и печали моей как не бывало. Я будто ждал ее зова, прыгнул с арбы и бросился к костру. Все выкладывали свои припасы, кто-то притащил самовар, костер занялся на славу, в моем тазу решили сварить шурпу на всех, кругом звенел смех, слышались шутки, и я с радостью обнаружил вдруг, что тоже участвую в общей веселой болтовне, и кто-то сме-

ется моим словам, а Гавхар смотрела на меня из-за костра, и на сердце у меня стало легко.

После ужина я подошел к Гавхар:

— Хочешь, навестим нашу джиду... помнишь?

В густых зарослях на берегу было темно и страшно. Гавхар взяла меня за руку.

— Не пойдем далеко, я боюсь, ладно?

Я только сжал ее горячую ладонь, и мы пошли дальше.

Тихо шумела река, от кишлака долетел с ветерком аромат садов, и я необычайно сильно почувствовал, что Гавхар здесь, рядом со мной, дышит неслышно-испуганно и думает о том же, что и я...

Я посмотрел на нее, разглядел горячий блеск ее глаз — и ничего не стал говорить, только гладил тихонько ее руку. Она замерла и словно боялась шелохнуться, потом, будто в забытьи, не сводя с меня глаз, неслышно и легко шагнула назад.

— Вернемся...

— Гавхар!..

— Нет, вернемся... потом...— Она не договорила, побежала по тропинке к нашему видневшемуся вдалеке костру.

Я остался на месте, счастливый, окрыленный предчувствием радости... Это ощущение жило во мне и тогда, когда я сидел уже у нашего костра и слушал вполуха какие-то увлекательные рассказы долговязого Джуманазара. Все наши внимали ему, открыв рот. Только Гавхар задумчиво опустила голову... Я подсел к ней.

— Что ты?

— Отца и маму вспомнила... Пойдем завтра на кладбище, ладно? Я одна боюсь...

Мы просидели рядом до ночи, глядели на реку, слушали ее шум, наши лица озаряли всполохи огня, и будто какая-то стена отделяла нас от всех других людей...

Наутро мы с Гавхар пошли к могиле ее отца. Она была печальна и плакала, а я думал о ее и о своих родителях и о том, как безжалостно отнеслась жизнь к нам с Гавхар. Как будто какая-то злая сила отняла наших близких! Хотя смерть ее отца и матери была, наверное, страшнее... Я вдруг вспомнил вчерашние слова Лойко: «В Чалыше — несколько похожих случаев...»

А теперь — в Ургенче...» Что он хотел этим сказать? И почему вдруг спросил о моем дяде?..

Гавхар поднялась от могилы, и мы пошли.

— Бекджан, а ты веришь в бога?

— В таких местах — да, — я кивнул в сторону кладбища.

— И я тоже... У могил я чувствую, что бог есть. Но только я все равно не верю в него. Разве бог допустил бы, чтоб умерли мои родители... Разве они были виноваты в чем-то?..

— От судьбы не уйдешь, — сказал я, желая успокоить ее, но она рассердилась:

— Нет никакой судьбы! И бога нет, и судьбы нет! Мечь — вот что есть... Мечь тех, у кого отняли землю и богатство!

— Не все, у кого отняли богатство, — звери!

Гавхар взяла меня за руку:

— Не сердись, Бекджан, я говорю не о вашей семье. Не сердись, ладно? Ты же знаешь, как я отношусь к тебе...

Я улыбался.

— А ты помнишь, — вдруг смущенно спросила Гавхар, — давно, когда ты уезжал из кишлака, а у меня болела нога, ты тогда подарил мне деревянный кинжалчик... засунул под подушку и оставил, помнишь?

Волна радости накрыла меня с головой...

— Да, — сказал я. — Ничего не забыл.

— Я сберегла его... и везу сейчас с собой...

— Я люблю тебя... Я очень люблю тебя...

— И я... я тоже, — шепнула Гавхар и вдруг убежала от меня.

VI

Если существуют в этой жизни счастливые люди — я был среди них самым счастливым.

Гавхар — рядом со мной, и невозможно уже было представить мое будущее без нее и ее жизнь без меня. Подумать только! Всего несколько дней назад я не знал, встречу ли ту единственную девушку, что будет мне по сердцу, что разделит со мной все будущие дни, все радости и печали, какие пошлет судьба. А сегодня я ловил взгляд Гавхар и видел в нем ласковый свет. Чего еще требовать от жизни?

В радостном волнении и не запомнил, как мы простились с провожающими, как уселись в лодки. Над головой моей захлопал парус, скрипнула мачта, свежий ветерок овеял мое разгоряченное лицо — мы отчалили.

Может быть, вам приходилось спускаться на лодке по Амударье? Тогда вы поймете меня. Можно ли забыть речную гладь под голубым ласковым небом и тысячи красок по плоским, а иногда всхолмленным берегам, вспыхнувшее солнце в окне домика под чинарами, зеленели площадки бахчей с крупными желтыми дынями...

Лодочники, рыбаки из Ходжейли, особенно старший, Шамурад-ака, были людьми общительными, быстро перезнакомились со всеми, обо всем успевали порасспросить и скоро уже шутили с нами, как со своими: «И чего ж вас, бедных, погнало на край света, за каким таким ученьем? Остались бы лучше с нами, мы бы девушек замуж поывадали, джигитам невест нашли — и за свадьбу! Пир горой! А там и ребятишки пойдут — то-то весело! Сплошные праздники! Повернем назад, а?»

Мы смеялись, девушки краснели, Гавхар — я заметил — украдкой глядела на меня.

Полдня пролетело незаметно: мы были веселы, возбуждены, пели, шутили. У Джуманазара оказался красивый голос, а ребята-туркмены были учениками знаменитого в их краях певца-бахши. Втроем они устроили нам настоящий концерт.

Оба туркмена были похожи, как близнецы, и мы путали их, не могли различить, где Атаджан, а где Берды. Каракалпак Новруз, кажется, единственный из нас был молчалив, говорил только «да» или «нет» и широко улыбался, показывая чистые и белые, точно зернышки отборного риса, зубы.

Девушки сначала стеснялись и не участвовали в нашем веселье, но Шамурад-ака сумел расшевелить их, так что вскоре разговор стал общим, будто собрались вместе близкие родственники. А самой бойкой оказалась Раима, та девушка, выручать которую ездила Гавхар.

В полдень мы устроили обед. Рыбаки, помощники Шамурада-ака, угостили нас соленой рыбой, мы тоже достали у кого что было — и боорсаки Султанпаши были немедленно и дружно съедены.

— За что аллах наказал меня, зачем ты уезжаешь, сынок! — сокрушался Шамурад-ака. — Как можно уехать

и не познакомить меня с такой прекрасной хозяйкой?! Женщина, приготовившая эти боорсаки, достойна моего внимания! Вы все свидетели — как только найду ее, сейчас же женюсь!

— Э-э, дорогой Шамурад-ака, что вам стоит подождать пять лет — пролетят как пташки, и Бекджан вернется и познакомит вас со своей прекрасной хозяйкой!

— Ну что ты говоришь, сынок! Знаешь ли ты, что такое пять лет? За пять лет такой мужчина, как я, найдет десять жен и всех успеет бросить!

Так мы плыли, веселясь и балагуря, распевая песни и вспоминая смешные истории. Парус перед обедом спустили, течение несло нас к морю, и Шамурад-ака, примостившись рядом со мной на носу лодки, говорил беззаботно:

— Неплохо идем, неплохо. И ветер добрый, а сейчас парус поднимем — еще быстрее двинемся! С таким ветром за три перехода у моря будем, а там сядете на пароход, переправитесь к поезду, поезд вам подадут — поедете в Москву! Эх, мне бы ваши годы — ничего не удержало бы меня, поехал бы с вами!

— Шамурад-ака, — позвал старшего его подручный.

Что-то услышал старик в его голосе такое, что сразу оставил веселый разговор и подошел к молодому рыбаку.

Парень что-то тихо сказал Шамураду-ака и показал рукой в сторону берега. Я посмотрел — и ничего не заметил: берег ровный, за ним холмы тянутся, пусто...

— Поднять парус, — распорядился Шамурад-ака. Что-то его, видно, встревожило. Я проследил за его взглядом, присмотрелся внимательнее, — и по спине у меня пробежал холодок: на одном из холмов маячил крошечный на таком большом расстоянии всадник.

Рядом со мной встал Джуманазар и тоже напряженно вглядывался вдаль.

— Как думаешь, что это? — спросил я.

Он не ответил, а обратился к ребятам и девушкам:

— Сядьте все пониже, пригнитесь, чтоб с берега заметно не было!

— Что случилось? — поднялась Гавхар.

— Человек, — ответил за Джуманазара Шамурад-ака. — Правильно парень сказал — садитесь все.

Гавхар нехотя повиновалась. Я опустил на корточ-

ки рядом с ней, и все мы в тревоге разглядывали правый берег. Тем временем к крошечному всаднику присоединились еще два.

— Джапак, Салим,— приказал Шамурад-ака,— быстро на весла, нажимайте.

Но ветер, как назло, утих, и лодка не пошла быстрее. Шамурад-ака глянул на обвисший парус, выругался себе под нос и достал из-под скамьи прилаженное там ружье, охотничий дробник.

Все, кто был в лодке, с тревогой следили за холмами. Всадников там было уже человек двадцать...

Ко мне подошел Джуманазар.

— Если нападут, девушек защищай. Понимаешь?

— Басмачи?

Джуманазар только головой покачал — сам не соображаешь, что ли?

Он прошел на нос, к Шамураду-ака, и там они и еще оба туркмена тихо стали о чем-то совещаться.

Один Новруз остался спокойно-безучастным — сидел рядом с девушками, молчал и, кажется, не глядел на проклятый берег. Потом поднялся, шагнул к Салиму, который греб так, что обливался уже потом, сел рядом с ним, молча забрал у него весло.

— Ну-ка! — он повернулся ко второму рыбаку, Джапаку, улыбнулся.— Взяли! Р-раз-два, р-раз-два!

Лодка двигалась вперед мощными толчками. Салим стал прилаживать запасное весло, чтобы хоть как-то помочь товарищам,— и тут мы услышали выстрел. Потом еще... Несколько пуль свистнуло над нашими головами, но расстояние до стреляющих было велико, и это спасало нас.

Заплакала девушка-туркменка, тоненько и жалобно, опустила голову на колени и заплакала. Гавхар обняла ее за плечи...

Я подобрал какой-то металлический шкворень, ребята тоже вооружились чем попало, но ружье было одно на всех. Пока мы ничего не могли поделаться — и лишь напряженно ожидали то, что накатывалось на нас из пустыни.

Всадники успели уже спуститься с холмов к воде и нагоняли нас по низкому песчаному берегу.

— Много проклятых,— прохрипел Салим и угрожающе поднял весло.

Да, басмачей было человек двадцать, не меньше, они

постреливали на ходу и, видно, рассчитывали догнать нас. Голыми руками нас не возьмешь, это ясно, но если догонят — перестреляют с берега... Что мы им с нашими железками и единственным ружьем?

— Ну как, ребята, будем драться? — негромко спросил Шамурад-ака и каждому из нас, по очереди, заглянул в глаза. Но мы и так уже стояли, не прячась, вооруженные кто ножом, кто железкой, кто веслом...

Гребцам Шамурад-ака сказал:

— Не останавливайтесь ни в коем случае! В реку они не полезут, нам бы только отмель проскочить! Устанете — сменим вас.

Налетел ветерок, захлопал и наполнился парус, лодка пошла быстрее.

— Ур-ра! — закричал Салим и потряс веслом. — Теперь не догонят, уйдем, ребята!

Джапак и Новруз гребли так, что гнулись весла. Салим помогал им своим веслом, ветер надувал парус, — и все же всадники догоняли нас.

Скоро я мог уже различить лица преследователей, — один был перепоясан пулеметными лентами, и сверкал в лучах опускавшегося солнца клинок над головой переднего — басмач лихо крутил им над головой.

Шамурад-ака заставил девушек лечь на дно лодки. Только Гавхар не захотела подчиниться. Девушки дрожали от страха, Раима билась в истерике. Мы все знали о зверствах басмачей, знали и то, что в кишлаках, куда они могли нагрянуть, женщины и девушки не спали ночами, ожидая набега, старались вымазать лицо сажей или грязью...

— Пригнись сейчас же, не видишь — стреляют! — крикнул я Гавхар, но она только покачала головой. — Пригнись, заденет!

Девушка нехотя присела на корточки, укрылась за бортом лодки. Она оперлась рукой о днище, и я заметил, что в кулаке у нее зажат кинжал — мой деревянный детский кинжальчик.

С берега ударили из винтовок, пули вспороли воду рядом с лодкой.

— Сто-о-ой! — заорал передний басмач. Он лихо поднял коня на дыбы над самой водой и грозил нам с берега шашкой. Догнал-таки!

— Ну, останови, сын собаки, попробуй! — Шамурад-ака поднял ружье. Грохнул выстрел, всадник уронил

руку с шашкой, потом завалился набок и медленно сполз с седла.

— Ага, ну, кто еще хочет попробовать, подходи! — закричал Шамурад-ака. Мы смотрели, затаив дыхание.

С берега снова хлестнули выстрелы, уже весь отряд догнал нас. Шамурад-ака ответил, и вдруг я услышал, как рядом коротко простонал Салим. Я оглянулся — и бросился к нему: на груди у него, у сердца, на белой рубашке расплзлось красное пятно.

Шамурад-ака передал ружье Джуманазару и тоже кинулся на помощь, но Салим опрокинулся навзничь, на дно лодки; глаза его невидяще смотрели в небо.

— Салим, Салим! — молил Шамурад-ака. — Отзовись, Салим! — Но ответить Салим уже не мог. — Гады, собаки, бей их, Джуманазар! Стреляй же! Давай я сам!

Еще один басмач сполз с седла на песок, но тут же несколько пуль пробили борт лодки, и струйки воды показали места пробоин. Еще несколько залпов — и лодка начала потихоньку наполняться водой. Вот на что рассчитывали басмачи! Ведь впереди была отмель, и нам надо было пройти над ней, а лодка и так уже была перегружена!

Новруз и Джапак гребли что было сил; когда они откидывались с веслом назад, я видел их мокрые от пота лица. Остальные ребята помогали грести — кто веслом, кто доской — чем попало; я пытался щепками, обрывками веревок заткнуть пробоины, но воды под ногами все же прибавлялось, лодка заметно осела.

И вдруг под днищем заскрежетало, лодка дернулась, накренилась, я, удержавшись, шлепнулся на скамью...

— Джапак, что там? — обернулся с ружьем Шамурад-ака, но было уже понятно и без объяснений: мы не прошли над отмелью. Джапак вместо ответа вдруг упал на борт лодки, перевалился в воду, и голова его скрылась под днищем.

От берега и от басмачей нас отделяло теперь метров тридцать, не больше. Шамурад-ака успел ссадить еще одного, но грохнули выстрелы из десятка винтовок, и старый рыбак повалился на дно лодки. Мы бросились к нему — он прохрипел только: «Простите меня... дурака старого... не доvez...» — и затих.

Человек десять басмачей въехали в реку и по отмели приближались к нам.

— Ну, собаки, подходи, кому жить надоело!— Новруз вырвал весло из уключины, поднял над головой и достал ближнего к нему басмача — тот свалился в воду.

Джуманазар выстрелами в упор сбросил с лошадей еще двоих, я вместе с туркменами отбивался на корме, потом схватился врукопашную...

Но долго мы выстоять не могли, и скоро всех нас, избитых и окровавленных, вытолкали на берег. Всем ребятам связали руки. У меня голова раскалывалась от боли, и я плохо видел — получил сзади по голове, наверное, саблей плашмя попало... С нами не было Новруза и Атаджана; как погиб Новруз, я видел — он успел свалить веслом и второго басмача, а третий достал шашкой его самого... Куда делся Атаджан, я не знал: от удара я потерял на какое-то время сознание. Тела Шамурада-ака и Салима басмачи бросили в лодке... Джапак свалился в воду еще во время перестрелки...

С тоской, затравленно оглядывали мы реку, берег, пустыню, — никого! Никто не мог помочь нам!

Думал ли я, что так скоро рухнут все мои надежды и мечты, что придется кончить жизнь на пустынном берегу под ногами вооруженных бандитов! Надежды спастись не было.

Когда мы отделились от реки, басмачи вновь окружили нас. Смеясь и грязно ругаясь, стали выталкивать из нашей группы девушек. Те заголосили. Раима вырвалась, хотела бежать. Ее сбили с ног, рванули на ней платье, она закричала. Я зажмурил глаза...

Джуманазар не выдержал. Бросился на басмача, схватил его за горло. Грохнул выстрел. Джуманазар упал на песок, опрокинулся навзничь. От уголка его рта протянулась струйка крови...

— Если хотите в живых остаться, не рыпайтесь, ясно говорю? — Плотный чернобородый басмач повел перед нами дулом винтовки, потом закинул ее за спину.

Я оторвал взгляд от тела Джуманазара, глянул на басмача и замер. Два дня назад он сидел в моей комнате!.. Это он привез мне письмо от дяди!..

Басмач тоже узнал меня, ухмыльнулся:

— И ты попался? Ай да Алибек! Знал, поди, что племянник в гости едет, а? — Он захохотал, я опустил голову.

Сразу вспомнилось мне письмо дяди с туманными угрозами обидчикам, расспросы Лойко о нем... А вдруг мой дядя Алибек тоже здесь? Ну нет, быть такого не может, какой же дядя бандит, он же тихий... немой... поспать любит... Я поднял голову, исподлобья оглядел оставшихся с нами басмачей. Нет, среди них дяди Али не было. Хотя неизвестно, что лучше в моем положении,— был бы он с басмачами, может, помог бы? Уж очень глупо погибнуть вот так... по дороге в Москву.

Все же тень надежды ожила во мне. Я отыскал взглядом Гавхар. Девушки испуганно жались друг к другу, у Гавхар в лице ни кровинки, губу закусил... Почувствовала мой взгляд, посмотрела, я кивнул ей ободряюще, она отвела взгляд.

Басмачи уселись в седла. Один хотел посадить с собой Гавхар, потянулся за ней — она укусила его за руку... С проклятиями басмач тронул коня, но хоть стрелять не стал, и то хорошо...

Нас погнали куда-то в сторону холмов, видно, хотели увести в глубь пустыни; конные басмачи окружали нас широким кольцом. Так мы и шли, связанные.

Близилась ночь. С холмов мы в последний раз оглянулись на реку. Наша лодка, накренившись, оставалась еще на отмели, два басмача что-то делали с ней, похоже, хотели подтащить ближе к берегу. Огромное багровое солнце уже коснулось горизонта, и тело Джуманазара на песке у воды казалось освещенным пламенем.

Я посмотрел на Гавхар: она тоже глядела на реку, словно оттуда неожиданно могла явиться помощь.

— А ну шагай! Живо! — басмач замахнулся на меня плеткой...

Куда нас гонят, что готовит нам ночь?

VII

Уже было темно, когда главный среди басмачей, тот самый, посланец дяди, распорядился остановиться.

Место незнакомое — кусты, редкие деревья... Басмачи попрыгали с коней. Две девушки из наших без сил опустились на песок. Гавхар подошла, склонилась над ними.

Я посмотрел на ребят — лица измученные, почерневшие, губы потрескались.

— Воды... — попросила одна из девушек.

— Сейчас, красавица, не спеши, скоро не воду — вино пить будем! — басмач приоткрыл в хищной улыбке рот.

— Чего скалишься? — оборвал другой, постарше. — Или своих детей нету?

Он полез в суму, притороченную у седла, достал фляжку, протянул Гавхар:

— Пейте.

В глубине кустарника показался огонек, вышел человек с плоской, приблизился.

— Где столько пропадали?

— Да провозились с ними, кусались, сучьи отродья... — ответил за всех чернородый.

Человек подошел к нам, осветил каждому в лицо и, ничего не сказав, двинулся прочь. Чернородый последовал за ним, и я услышал:

— Зачем щенков притащили?

— Один — племянник Алибека...

Так... Значит, мой тихий дядя — все-таки с басмачами! Как же он попал к ним?! И я его сейчас увижу? А может, тут есть и еще обиженные на власти, как дядя, — такие, у кого отобрали дом, землю?.. Но как он мог?! Они же бандиты, убийцы!

— Бекджан! — услышал я тихий шепот. — Как потвоему, Джапак спасся? — Мысли о дяде сразу как ветром сдуло, я обернулся к Берды — это он мне шептал: — Слушай, попробуем бежать, а? Доберемся до наших, пошлют отряд, накроют этих сволочей! Рожки да ножки останутся!.. Бежим?

— А девушек — оставим, да?

Берды задумался. Правда, девушек с собой ведь не возьмешь — они и так с ног валяются, далеко не уйдут... И бросить их — тоже нельзя. Как быть?

— Эх, хорошо бы Джапак спасся, тогда он уже добрался до наших...

— Слушай, — сказал я, — бежать нужно одному из нас, сейчас ночь, может, до утра не заметят — за ночь далеко уйти можно...

— А кто — ты или я?

— Ты... — Я ни за что не ушел бы без Гавхар...

Берды кивнул.

Потом он поднялся, подошел к басмачу, охранявшему нас, — тот сидел на песке у костерка, винтовку держал на коленях и, кажется, клевал носом. Берды на-

клонился, что-то сказал ему, басмач выругался, потом смягчился, развязал ему руки и кивнул в сторону кустов. Мой товарищ исчез в кустах.

— Да не сиди там всю ночь, ты, отродье потаскухи! — крикнул вслед басмач.

«Только бы ушел подальше! Только бы ушел! — лихорадочно думал я. — Заснул бы этот, что ли...» Я вслушивался, вглядывался в кусты, смотрел на охранника — в кустах все вроде было тихо, охранник дремал...

И вдруг его точно ударили, он вскинул голову, поглядел на куст, за которым скрылся Берды, и крикнул:

— Эй ты, падаль, подох там, что ли?

Кусты не отозвались.

Басмач нехотя поднялся, подошел к кустам — и тут же заорал во всю глотку:

— Убежал, убежал, собака, сюда, сюда, эй, сюда!

Из темноты возникли, подошли к охраннику человек пять. Он, показывая на кусты, стал им объяснять...

На плечо мне легла рука.

Я обернулся — чернобородый главарь.

— А я было подумал — ты дал деру! Ну, этого мы быстро... Эй, джигиты, — по коням! Догнать!

Через полминуты десяток всадников, взметая песок, усккали в ночь.

Я почувствовал, что рядом со мной Гавхар. Обернувшись, я увидел в отсветах костра страх в ее глазах.

— Догонят... — шепнула она.

— Темно... — возразил я, но сам понимал ясно и тоскливо: далеко ли уйдет Берды, не зная местности, пеший, когда за ним — десяток конных, знающих все вокруг как свои пять пальцев.

Вдалеке грохнул выстрел, донесся крик, еще выстрел. Все стихло.

Гавхар опустилась на песок, плечи ее вздрагивали.

Надеяться нам больше было не на что.

Когда конники, уходившие в погоню, вернулись, тот, что прежде сторожил нас, снова направился к костерку мимоходом спросил с издевкой:

— Ну, сын потаскухи, может, и у тебя брюхо болит?

Я не выдержал, шагнул ему навстречу:

— Собака! Бандит!

— Смотрите, оказывается, он еще не проглотил свой

поганный язык!— Басмач подошел ко мне ближе.— Ты с кем так говоришь щенок, а?!

Свистнула плеть, боль обожгла мне лицо, из глаз посыпались искры...

— Ах ты зверюга!— стиснув зубы, я что есть силы ударил басмача ногой в живот. Заорав, тот согнулся в три погибели, потом стал кататься по земле.

— А ты парень крепкий, себя в обиду не даешь!— послышалось у меня над ухом. Я обернулся— чернобородый. Хотя руки мои были связаны, он крепко взял меня за локоть и так держал, пока охранник не поднялся.

— Бек! — прохрипел охранник.— Бек, отдай его мне! Отдай! Ты же видел, бек!

— Замолчи! — распорядился чернобородый.— Этот пленник — мой, понял? Не трогать! Веди его за мной.

Он двинулся в сторону кустов, туда, куда ушел человек с плоской, и охранник погнался следом, толкая в спину прикладом и проклиная весь мой род до седьмого колена.

Шли мы недолго, и вот уже я разглядел в ночи несколько бесформенных в темноте строений. Где-то светился огонек...

Когда подошли к одному из строений, басмач-охранник с руганью толкнул меня прикладом в черноту двери... Я упал лицом вниз...

Подо мной песок,— кругом темно, ничего не разглядеть, и, кажется, никого... Слышно, как басмач снаружи подпер чем-то дверь. Так. Это, по-видимому, до утра. Я повернулся на бок, сел. Руки мне так и не развязали, гады! Боятся!.. За моей спиной что-то зашуршало коротко и сухо—ящерица, наверное, пробежала... Я почувствовал страх... А вдруг—змея? Ну что я со связанными руками? Беспомощен, как теленок! Нет, так сидеть нельзя, надо что-то делать... Посмотрим хоть, где я... С трудом я поднялся на ноги и шагнул вперед... Еще, еще... и я уперся в стену... Где же дверь? Пошел вдоль стены... И тут... Снаружи донеслись крики, шум, возгласы, ругань, мольбы о помощи, снова отчаянные крики... Я похолодел—кричали наши девушки... Гавхар! Что там происходит?! Я звал, орал, ногами бил в стену, но меня, наверное, никто не слышал...

Внезапно шум стал приближаться, послышался топот, потом голос бека:

— Держи ее, уйдет!

Снова топот, потом отчаянный крик:

— Проклятые! Отпустите, кровопийцы!

Я с ужасом узнал голос Гавхар. Как помочь?!

— Гавхар! — закричал я. — Держись, не давайся!

— Ух, дочь шакала! Кусается! — слышалось снаружи. — Чего возишься, бери за волосы...

— Силы, как у породистой кобылицы! Ах, сука, кусается! На тебе, получай! — слышался глухой звук удара.

— Ну вот, теперь до утра не очухается... Полегче надо было, — упрекнул другой басмач.

Голоса приблизились, дверь распахнулась, в сером проеме показались темные фигуры. Я прижался к стене.

...Гавхар бессильно замерла на полу, и дверь захлопнулась. Голоса удалялись:

— До утра отойдет...

— А хороша, а?

— Другие тоже неплохие. Пошли скорее...

Руки у меня все еще были скручены.

Я опустился рядом с Гавхар на колени и целовал ее волосы, плечи, лицо. Она не шевелилась. «Гавхар!» — звал я, она не отвечала. Не знаю, сколько времени просидел с ней... Вдруг почувствовал, что она уже не лежит расслабленно, тело ее напряглось.

— Гавхар... — шепнул я. Она шевельнулась.

— Ты, Бекджан?.. Ох, Бекджан... девушек... опозорили... — она захлебнулась рыданием.

Я молча сидел рядом.

Гавхар уже плакала почти беззвучно, не разобрать — то ли плакала, то ли постанывала, и вздрагивала всем телом.

— Гавхар, милая, не надо... — шепнул я. — Встань, развяжи мне руки.

Гавхар послушно поднялась, развязала ремень, стягивавший мне запястья, и прижалась ко мне, обняла и снова затряслась в рыдании:

— Бекджан, милый, надо бежать. Спаси меня, слышишь!.. Я не смогу, не переживу... Бежим отсюда!.. Придумай же что-нибудь! Если мы спасемся — выручим всех!.. Что ты молчишь? Или, может, тебя дядя спасет?! Тебя одного?! Я все, все слышала! А что будет с нами, со мной, завтра...

Я обнял ее.

— Бежим, Гавхар!

Стены нашей тюрьмы были крепкие, дверь тоже не поддавалась, а поднимать шум я боялся — услышат нас, тогда уж не уйдешь!

Я искал хоть какую-нибудь щель, еще и еще ошупывал в темноте стены — и вдруг меня осенило. Пол! Ведь под ногами — песок!

Я расковырял ямку у стены, дальше пошло легче — песок был рыхлый, легкий, и скоро я смог просунуть под стеной руку. Гавхар вся дрожала от нетерпения, торопила меня. Она помогла мне расширить ход, и наконец мы бесшумно выбрались наружу.

Было, наверное, уже за полночь, и в неясном свете ущербного месяца мы осторожно пробирались меж кустов... За спиной слышались пьяные возгласы, басмачи еще веселились... Раздался тонкий женский вскрик... Гавхар остановилась в нерешительности. Ведь мы оставляли девушек в лапах бандитов! Но как иначе можно было вызволить их? Кто-то должен добраться до наших, позвать на помощь... Иначе всем нам — смерть, не сегодня, так завтра, в этом сомневаться не приходилось, привычки басмачей были хорошо известны...

Я тронул Гавхар за руку. Надо было спешить — от того, сколько мы пройдем до рассвета, зависело наше спасение.

Мы вышли из кустарника на открытое место.

— Ты знаешь, где мы? — спросила Гавхар.

— Надо вернуться к реке.

Но ни Гавхар, ни я не знали, в какую сторону идти. Мрак окутал пустыню, тусклый свет месяца не мог побороть тьму, — может быть, на наше счастье, — и мы с Гавхар пошли наугад.

VIII

До рассвета мы ни разу не остановились, не присели отдохнуть. Я оглядывался все реже — погони за нами пока не было, все было тихо там, откуда мы шли. А может, еще и не хватились нас... Вполне может быть: пили, гуляли — теперь спят... Но радоваться рано — главная опасность еще впереди. Так просто нас из рук не выпустят. Хватятся с рассветом, — увидят подкоп, и два десятка верховых прочешут эту часть пустыни вдоль и поперек...

Да, наше спасение в том, чтобы уйти подальше. Добраться бы к восходу солнца до реки! Хотя именно там нас и будут искать в первую очередь.

К этим мыслям примешивались другие, светлые: Гавхар со мной, я спас ее, вот она, шагает рядом, и как знать, решил бы я без нее бежать, бороться до конца или валялся бы сейчас со связанными руками, надеясь на милость дяди...

Смерти я не боялся, за минувшие сутки я столько раз пережил ее, что страха не осталось. Понимал, конечно, что, если догонят нас с Гавхар, расправа будет короткой, никто не вспомнит о том, что я племянник Алибека... «Не нашли — и все, — скажут дяде. — Не видели, не встречали...» Да и мы с Гавхар скорее умрем, чем дадимся им в руки...

Пустыня тянулась без конца и края, темная, затаившаяся. Когда налетел ветер, шуршал песок — мне чудились тысячи маленьких змей, ползут куда-то, заполнили все пространство вокруг, подбираются к нам... Змей я всегда боялся...

Начало светать.

Идти становилось все труднее, ноги вязли в песке, рубаха у меня на спине была мокрой от пота... Наше счастье, что ночь выдалась прохладная, и пока не мучила жажда...

Но вот и солнце показалось золотым краешком над горизонтом, поднялось, в розовое и желтое окрасило пустыню. На душе как будто легче стало, хотя солнце и несло нам главную опасность: днем найдут скорее.

— Отдохнем немного, — предложил я.

Гавхар посмотрела испуганно:

— Устал?

— Ничего, только в глазах рябит...

— И у меня... Ну давай еще немного пройдем, а? — Она оглянулась, долгим взглядом посмотрела назад — кажется, впервые за ночь.

Я кивнул, и мы зашагали дальше. Но идти было все труднее. Я потихоньку начал отставать от Гавхар. Откуда в ней столько силы — хрупкая, светлое порванное платьице на спине прилипало к лопаткам, на лбу капельки пота... И все же шагает, и шагает, и шагает — видно, что не остановится. И мне не даст. И я, сжав зубы, месил и месил ногами песок и лишь старался не отставать.

— Смотри! — сказала Гавхар.

Я поднял голову и увидел впереди гряды холмов. Гавхар смотрела на меня, и наконец-то в ее глазах была радость.

Холмы тянулись вдоль реки, и вчера мы перевалили их, когда басмачи гнали нас в пустыню. Значит, за ними должна быть река?

У меня уже не было сил радоваться. Я просто смотрел и говорил себе: вон холмы, за ними река, там будет легче... Туда надо дойти...

— Доберемся до холмов и там отдохнем, ладно? — спросила Гавхар.

Я снова кивнул, и мы снова зашагали дальше. А холмы, такие уже будто бы близкие, все не становились ближе...

Солнце поднялось над горизонтом, сделалось жарко. В горле у меня пересохло, я с трудом передвигал ноги, от пота щипало глаза. Гавхар тоже смахивала со лба капельки пота, шла все медленнее, но с прежним упрямым выражением на лице. Сколько мы так прошли, не знаю, мне уже начало казаться, что холмы странным образом удаляются от нас...

— Ну ладно,— сказала Гавхар, словно оправдываясь перед собой.— Давай передохнем... Уже недалеко...

Песок был горячий, и солнце горячее, и видно было, как воздух дрожит и струится над горячим песком.

Я огляделся: бескрайняя желтая равнина, не на чем остановить взгляд, только цепочка барханов справа да гряда холмов впереди выделяются в жарком желто-голубом мире, указывают нам путь.

— Я думаю, теперь уже не догонят. Только бы до реки добраться...

— По-моему, река недалеко. Холмы похожи на те, откуда они следили за нами.

Гавхар блаженно растянулась на песке, подложив ладонь под голову, и глядела в голубое небо.

— Может, и лодку нашу найдем...

— Да зачем она... На тот берег по отмели доберемся... Я там незадолго до того, как погнались за нами, домики видел — кишлак, должно быть. Люди помогут...

И вот мы снова шагаем, и жжет солнце, и пересохло в горле, но зато холмы не удаляются больше, замерли на месте.

Потом начинают расти.

И вот мы у песчаной горы. Снизу кажется, что добраться до вершины невозможно. Мы с трудом переставляем ноги, по колено увязаем в песке, песок хрустит на зубах, но все же мы медленно поднимаемся. Потом ноги уже не держат нас, и мы ползем вверх, помогая себе руками. И вот наконец вершина холма, и мы одновременно видим где-то у горизонта серебряную полоску.

— Река...— выдохнула Гавхар и обвела языком пересохшие губы.

— Река...— подтвердил я.

Сколько времени пролежали мы в изнеможении? Наверное, немного — серебряная полоска на горизонте манила к себе, и мы не сводили с нее глаз.

Вниз мы спускались бегом, но внизу Гавхар снова опустилась на песок.

— Что с тобой?

— Ноги...

Ступни у нее потрескались, щиколотки распухли, а выше кожа была покрыта красной сыпью. Я стал дуть ей на ноги, и она улыбнулась сквозь слезы боли...

— Ничего, река уже близко... Дойду...

— Знаешь что, давай я понесу тебя, ну-ка, забирайся ко мне на спину!

Гавхар покачала головой. Но я положил ее руки себе на плечи и заставил подняться. Она оказалась неожиданно легкой.

— Лучше ногам стало?

— Да... Только тебе тяжело, я же вижу!

— Ну что ты! Слушай, я тебя так до Хивы понесу, согласна?

Гавхар счастливо рассмеялась.

— Да! Как хорошо, что удалось бежать вдвоем... Что бы я одна здесь делала?

— Больше я тебя никогда, никуда от отпущу! Останешься со мной?

Гавхар прижалась ко мне горячей щекой. Я остановился.

— Знаешь что, Гавхар... Поцелуй меня!

Она не ответила, но я слышал, как забилося за моей спиной ее сердце...

Жаркое дыхание, и будто язычок пламени коснулся моей щеки...

— Бекджан... отпусти меня.

— Почему? Я совсем не устал....

Но она уже не обнимала меня за плечи, и я тихонько спустил ее на песок. Она закусил губу, но пошла сама, рядом со мной. Когда я нечаянно прикоснулся к ней, она отдернула руку.

— Что ты, Гавхар?

Она не ответила, молчала, все так же закусив губу, и я увидел, что она вся дрожит,— ее трясло как в лихорадке... Я обнял ее, она приникла ко мне и заплакала.

У меня от жалости комок подступил к горлу, ее слезинка обожгла, скользнула по моей щеке, я гладил ее худенькие плечи и слышал горьковатый аромат ее волос...

— Если б нам удалось дойти... Ты ведь не оставишь меня, Бекджан?.. Я боюсь...

— Ну что ты! Не беспокойся, нас уже не догонят. Теперь мы всегда будем вместе...

Она продолжала всхлипывать, говорила сквозь слезы:

— Простите меня, подруженьки. Что с вами сделали? Сама не понимаю, как я вырвалась... кусала кого-то... бежала...

Я гладил ее волосы и шептал ей на ухо:

— Не мучай себя... Еще немного потерпи, доберемся до реки, до своих, тогда и девушек освободим! Не бойся, никто не тронет тебя, не плачь... Пойдем лучше, давай я опять понесу тебя...

— Ничего... я сама...

Она вытерла слезы, дала мне руку, и мы зашагали, и Гавхар ступала осторожно, я хотел, чтобы ее боль через наши руки ушла от нее, передалась мне...

Так мы прошли несколько сот шагов, и когда я посмотрел вперед, сердце у меня упало: на месте серебряной полоски выросли какие-то холмики...

Гавхар тоже увидела и в тревоге обернулась ко мне:

— Что это? Где река?

— Наверное, за теми холмами,— успокоил я ее,— мы смотрели сверху, а сейчас холмы ее загораживают...— Но в голосе моем не было уверенности.

Гавхар не ответила, но старалась теперь идти быстрее.

И вот мы у невысокой гряды холмов, перевалили

ее,— но река точно ушла в песок — нет ее! Да была ли она? Я сам испугался своей мысли. Неужели нас обманул мираж? Я без сил опустился на песок. Гавхар оглядывалась растерянно.

— Куда же она провалилась? В какую сторону идти?

— Не знаю.

Я закрыл слезившиеся от напряжения глаза, а когда открыл — на горизонте снова мерцала серебряная полоска.

— Смотри, река,— Гавхар протянула руку, показывая мне на нее.

— Это не река, Гавхар. Это мираж... Мы заблудились...

— А холмы? Ведь нас вчера гнали через холмы?

— Наверное, их тут много...

Река должна быть где-то недалеко. Но где, в какую сторону идти?

Я огляделся. Кругом, до самого горизонта, мертвая желтизна пустыни, и неоткуда ждать помощи... И серебряная полоска зазывает дальше в пески...

— Что же делать? — спросил я растерянно.

— Надо идти...

— Но куда?

Гавхар уверенно показала рукой налево, и я вдруг почувствовал глухое раздражение — откуда она знает?

— Слушай,— торопилась объяснить Гавхар,— нас вчера басмачи вели к востоку от реки,— помнишь, солнце садилось за спиной? А сегодня мы только раз повернули — когда подумали, что видим реку. Значит, надо вернуться... И идти, как утром... Вот увидишь, мы найдем ее!

Я не стал спорить. Конечно, река не течет по прямой, и можно искать ее в песках хоть несколько дней... Но все равно — надо же куда-то идти... А правильно мы идем или опять плуаем — это увидим потом...

Теперь нас мучила не только жажда, но и голод... Губы у меня потрескались и болели, было трудно дышать... Я уже не думал о реке и хотел только одного — чтобы солнце скорее опустилось и вечер принес облегчение... Ноги мои были растерты и саднили, я ощущал каждый гвоздик, каждый шов моих сапог — но стащить их с распухших ног уже не мог.

На ноги Гавхар я боялся смотреть. И все же сильнее всего мучила жажда.

— Господи, хоть бы глоток воды, хоть один, и тогда бы я уж дотерпела... — не выдержала, пожаловалась Гавхар.

Я не ответил. Где его возьмешь, этот глоток... Колодцы в пустыне есть, но, как я слышал, только на старых караванных дорогах... Или наоборот, дороги прокладывали от колодца к колодцу... Вода в них, наверное, холодная, жара ведь под землю не проникает...

— О чем ты думаешь? — спросила Гавхар.

— О воде...

— И я... Сейчас бы выпила целое ведро... Помнишь колодец в нашем дворе? Я нашу корову всегда колодезной водой поила, сама для нее доставала... Мама говорила, пусть пьет из арыка, ничего с ней не сделается, только наша корова из арыка не пила, привыкла к чистой воде... Вода у нас в колодце холодная была, и в ведро попадались большие жабы... Говорят, жаб надо опускать в молоко, чтоб не скисало...

Гавхар вдруг запнулась и показала рукой — смотри.

Чуть в стороне поднимался над песком небольшой кустик, вроде колючки. Мы скорей свернули к нему. Низенький, стебель сухой, мелкие веточки с желтыми листиками. Я оторвал веточку — излом был влажным и отдал ее Гавхар, она слизнула влагу и сморщилась, выплюнула.

— Горько...

Я попробовал тоже — ужасная горечь. Мой отец умел лечить травами и не раз показывал мне полезные чем-то растения, рассказывал об их целебных свойствах. Но что это за куст с таким горьким соком — я не помнил. Машинально я подергал стебель — и вдруг песок вокруг него стал проваливаться, посыпался куда-то вниз, и я увидел отверстие, дыру с твердыми краями, и с них струился вниз песок...

Гавхар испуганно попятилась, я тоже сделал шаг назад.

В самом деле, может, там гнездо змеи!

И вдруг я понял!

— Гавхар, ведь это колодец! Там должна быть вода!

Я легко вытащил с корнями куст и отбросил его в сторону, потом торопливо стал выбрасывать из ямки песок. Вот моя рука задела за что-то твердое, показа-

лись сухие ветки, какие-то корни... Я начал выдергивать их и понял, что это настил... Мы были над колодцем, прикрытым настилом и засыпанным песком!

Я уже не помнил ни об усталости, ни о реке, ни о басмачах. Лихорадочно раскидал песок, расчистил настил из корневищ саксаула... Разобрал — под ним оказался еще настил, плотно уложенные жердинки. И вот — застоявшийся воздух, запах сырости, в темном провале — звонкое шлепанье: кап, кап, кап, кап... О, какая это была музыка! Я смеялся, я орал в полный голос:

— Вода, Гавхар, вода! Ты слышишь? Иди, послушай! Капает!..

Гавхар склонилась над колодцем и жадно всматривалась в звенящую глубину.

— Как часто капает... Будто что-то живое там... Как же мы ее достанем? Наверное, здесь глубоко, да?

— Попробую спуститься.

Стенки колодца оказались плотными. После недолгих поисков я обнаружил углубления в них, куда можно было поставить ногу... Колодец был неглубокий, в полтора моих роста, и в полутьме на дне я увидел посудину, полную до краев: с наклонного желоба, спускавшегося от стены, в нее бежала по капле вода... Я осторожно поднял посудину: чугунный котелок. О, какая вкусная, какая холодная была в нем вода. Я мысленно благословил неведомого нашего спасителя, того, кто нашел источник и вырыл колодец... Второй глоток был еще слаще первого — каждая моя жилка отозвалась на него, исчезло мутное безразличие, голова стала ясной... Третьего глотка я не сделал — подал котелок вверх, Гавхар.

Она приняла котелок и тут же жадно стала пить... Я мучительно хотел глотнуть еще, но увидел, как дрожат ее руки, и жалость сдавила горло. Я отвернулся, не стал смотреть, как она пьет, и сказал только:

— Осторожнее. Не пролей...

Она поставила котелок на песок, передохнула и снова стала пить. Потом отдала воду мне.

И вот снова капли стучат о пустое дно котелка, а я поднялся из колодца к Гавхар и вижу наконец ее счастливую улыбку... Лицо бледное и осунувшееся, но в глазах — свет.

— Отдохнем здесь, Бекджан, хорошо? А быстро котелок наполнится?

— Быстро. Слышишь, как шлепает,— значит, на дне уже есть вода.

— Хорошо бы умыться, а, Бекджан?

— Потерпи, скоро будет тебе полный котелок.

— Я готова ждать без конца... никуда не уйду от воды! Как хорошо здесь, правда, Бекджан?

Пока мы умывались, пока снова наполнялся котелок, пока мы пили и снова и снова наслаждались ледяной колодезной водой, прошло время, и над пустыней сгустились сумерки, загорелись на фиолетовом бархате неба яркие близкие звезды. Посвежело, но песок еще отдавал тепло, и мы, перед тем как растянуться у колодца в блаженной истоме, разбрызгали на песчаном ложе несколько пригоршней воды.

Я смотрел на звезды и ни о чем не думал. Гавхар закрыла глаза и не шевелилась, лишь чуть заметно подымалась и опускалась в такт дыханию груди...

Я чувствовал это в себе и догадывался, что и в Гавхар совершается то же: долгожданный покой, разлившийся по клеточкам и жилкам моего тела, коснулся и души. Теперь я мог вздохнуть свободно, наконец мы не бежали, а просто надо было хорошенько отдохнуть перед завтрашней дальней дорогой, собраться с силами и выйти во что бы то ни стало к реке. Если бы еще голод не мучил так... Но налитый водой желудок чуть притих, а о том, что будет завтра, я старался не думать... Хорошо было лежать в теплой тьме, не чувствовать своего тела — будто плывешь между звездами и землей...

Да, было хорошо, и я вспомнил ласковые теплые вечера в родном кишлаке, молочный свет луны, шелест речных струй.

У нас с Гавхар были любимые местечки, и там можно было сидеть и молчать и слушать реку, ветер, ночь, а из кишлака доносились женские голоса — матери сзывали ребятишек по домам, и в их крики вплеталось далекое бляение овец и еще ближние звуки — стрекот сверчков, концерты лягушек, крик запоздавшей птицы...

И рождалось сладкое и тревожное ожидание наступающего дня,— казалось, он несет загадочное и волнующее, что-то случится радостное, он не пройдет прос-

то так, он откроет неведомое... Наверное, это и было счастье...

Наутро я забыл о вечерних мечтах, и день пролетел, как обычно, в ребячьих заботах, радостях, играх, ссорах, учебе... А потом снова приходил вечер, и воздух наполнился ожиданием таинственного, и снова я ждал, чтобы скорее наступило завтра...

— Бекджан, о чем ты думаешь?

— Вспомнил наш кишлак... Как мы там быстро находили реку...

— Да... А я думала о Москве — будем жить там долго-предолго, пять лет... Будем ходить по улицам, где жил Пушкин... Я полюбила его стихи, знаешь... «Я вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать...» Они у меня здесь,— Гавхар тронула рукой грудь...

— А я люблю «Капитанскую дочку»...

— И тебе нравится Маша Миронова?

— Очень... Как она любит Гринева! И сама красивая — у нас дома была книжка с рисунками... Наверное, и в жизни была красивая... А больше всего нравится то место, где Гринев ее из неволи освобождает... Он — герой!

— А по-моему, герой — это Пугачев! Настоящий большевик.

— Разве тогда были большевики?

— Конечно! Они были всегда, только их называли иначе... Но как Гринев освобождает Машу — мне тоже нравится... Если бы у нас все было как у них, правда?

— Так и будет...

Гавхар снова надолго умолкла, смотрела широко открытыми глазами в небо и улыбалась. О чем она думала, куда залетели ее мечты? Что-то было сейчас в ней такое, что я побоялся спугнуть мысли, осветившие улыбкой ее лицо...

Наконец она посмотрела на меня.

— Ты была где-то далеко?

— Я думала о тебе... о нас.

Она приподнялась на локте, склонилась надо мной, лицо ее приблизилось к моему лицу, и я увидел ее глаза — в них был вопрос, и тревожное ожидание, и сомнение, и... свет, вот что было в них.

И я захотел, чтобы ее глаза стали еще ближе, я обнял ее и прижал к себе, и она обняла меня...

Вот так, под звездами пустыни, где стенами были

стороны света, а крышей — небо, тропинки нашей любви слились в одну...

Потом Гавхар сладко спала, свернувшись калачиком, а я смотрел на нее, и радость в моей душе мешалась со страхом — я не был готов получить то, что отдала мне Гавхар, и близость наша не принесла мне покоя — я и влюблен был, и счастлив, и одновременно встревожен и испуган...

Что нас ждет?! И до чего же беззащитны мы перед пустыней! И хоть огромно чувство, распирающее мою грудь, — как мала и беспомощна наша любовь перед песчаной бескрайностью, перед сотней злых ее сил, что обрушатся на нас с рассветом, — палящее солнце, голод, басмачи... и выйдем ли мы завтра к реке... и если нет, то посчастливится ли нам еще набрести на колодец? И сколько раз обманет нас, увлечет в сторону от реки коварный мираж?

Когда же началась эта дорога, что завела меня сюда, где ступил я на нее? Ах, если бы вернуть все к тому счастливому времени детства, к той счастливой жизни в кишлаке! Если бы не было всех этих потрясений, жили бы мои родители, и мы с Гавхар были бы счастливы в тихой, мирной жизни, в нашем доме с садом... Но нет, нет нашего дома — и не только горячие версты песка отделяют меня от него... Ведь дом отобран, имущество конфисковано, я нищий... Кто прав, где правда? У Гавхар она есть, своя правда, я знаю, но одна ли она у нас, или моя правда должна быть иной? И не ее ли правда завела нас сюда, в пустыню?

И снова я смотрел на спящую Гавхар, и тревога уходила, волна радости смывала сомнения...

Я долго не мог заснуть...

IX

Первое, что я увидел утром, — Гавхар, сидит рядом на песке, смотрит на меня, улыбается.

— Долго же ты спишь, смотри, солнце уже поднялось! А я рано проснулась, испугалась — где это я? Потом тебя увидела... — Она покраснела и опустила глаза.

— Доберемся сегодня до реки?

— Обязательно!...

...Я спустился в колодец, подал Гавхар котелок, мы напились и ополоснули лица. Потом я поставил котелок под желоб и растянулся на песке: ноги не держали меня — все-таки вторые сутки ничего во рту не было...

— Ты... не хочешь идти?

— Подождем, пока котелок наполнится, возьмем с собой.

— Как же можно? А если еще кто-нибудь, как мы, придет к колодцу — они ведь не смогут даже напиться! Не во что будет набрать воды! Не мы принесли сюда котелок, не нам его и забирать! Надо его оставить, Бекджан... А мы дотерпим... река должна быть где-то близко!

— Ладно, дотерпим... — Я невесело усмехнулся: вот они, две разные правды, ее и моя... Попробуй соедини их в одну!

Я закрыл колодец настилом, воткнул сверху давешний кустик, чтобы заметно было издали: здесь вода, — и мы тронулись дальше.

Мы одолели гряду барханов — впереди замаячила цепочка холмов. Добрались до холмов, вскарабкались наверх — впереди, куда ни достанет глаз, песок и снова барханы...

А за ними — опять холмы?

Я понял, что так будет повторяться без конца, что мы заблудились окончательно, и без сил повалился на песок.

Гавхар, не сказав ни слова, опустилась рядом со мной. Сколько времени я пролежал так — не скажу, кажется, я забылся каким-то тревожным полусном. Но и закрыв глаза, я видел только желтую бескрайность...

Когда я пришел в себя, Гавхар начала ободрять меня; она глядела на меня с жалостью, говорила, что мы идем правильно, что мы не можем заблудиться, говорила, что нельзя оставаться на месте, надо идти... Она хотела помочь мне подняться...

А я, казалось, не в силах был пошевеливать рукой, я будто растекся по песку, меня не было — и я не знал уже, хочу ли я встать, хочу ли я идти — или только лежать и не двигаться... И то, что Гавхар пыталась заставить меня подняться, было насилием и раздражало, и глухая злоба рождалась в груди...

Когда же я усилием воли стряхнул с себя оцепенение, стыд залил мне краской щеки: что ж это я? Гавхар,

женщина — сильнее меня? Она может идти, а я — нет? Разве ей не труднее?

Превозмогая слабость, я поднялся и сделал первые нетвердые шаги. Меня тянуло лечь, я чувствовал дурноту, но я заставлял себя считать шаги и шел вперед...

И снова был песок, барханы, холмы, снова песок, барханы, холмы, и снова, и снова... Гребни барханов сверкали под солнцем, и нам несколько раз казалось, что это наконец лента реки... Но реки не было, и где она, мы не знали. Может быть, мы уходим от нее? Хоть колодец-то наш мы сможем отыскать? Ведь без воды в пустыне конец один...

Стоило ли бежать от дяди, чтобы плутать несколько дней по пустыне и погибнуть мученической смертью от жажды?

Солнце замерло в зените, я ослеп и оглох от света, от жары, от песка, голод и жажда мучили меня, и наконец я почувствовал, что даже одежда, даже сапоги — непосильный для меня груз. Я повалился на песок — решил стянуть сапоги и идти дальше босиком, как шла Гавхар. Мне почему-то стало казаться, будто ей оттого легче шагать, что она идет босиком, — в этом все дело, это самое важное...

Я попробовал стащить сапог — но он, и без того тесный, не желал слезать с распухшей ноги. Гавхар старалась помочь мне, но ничего у нее не получалось, и это почему-то ужасно злило меня, — будто она во всем была виновата и нарочно не желала помочь, — чтобы и дальше ей идти было легче, чем мне.

Наверное, сознание мое помутилось. Но в этом полубреду у меня вдруг хватило сил грубо оттолкнуть ее и вскочить в злобе на ноги.

— Бекджан, что ты? — она испугано расширила глаза.

— Что, что Бекджан! Что ты еще можешь мне сказать? Опять — идем к реке? Опять — до нее совсем немного, да? Дойдем, как же! Не видишь, что ли, — подохнем мы тут! Птицы глаза выключают!..

— Бекджан! — крикнула Гавхар. У меня зазвенело в ушах. — Замолчи! Ну что ты говоришь...

Она хотела подойти ко мне, но в сердце у меня не было ничего, кроме злобы, и злоба эта рвалась наружу:

— Сама замолчи! Ты, ты и твои оборванцы-большевики затащили меня сюда! Убить хотите? Чтобы змею мою кровь повысосали?!

Кажется, я даже замахнулся на нее, и вдруг что-то обожгло мою щеку — затуманенное сознание послало вдогонку: тебя ударили по лицу, она ударила тебя...

Я схватил Гавхар за плечи и стал трясти, она что-то кричала мне в лицо, и в глазах ее я увидел вдруг жалость и страх, и очнулся, и протрезвел — господи, да что же я делаю! Ведь это Гавхар!

Она погладила меня по голове:

— Пойдем, Бекджан. Надо идти, нельзя останавливаться...

— Нет, нет! Надо вернуться, если мы хотим остаться в живых!..

— Вернуться?! Куда же?

— К колодцу...

— А оттуда? К твоему дяде, да, Бекджан?

— Он не даст нас в обиду, это лучше, чем сдохнуть в песках! Ты хочешь сойти здесь с ума? Хочешь дасться воронью на поживу?

— Бекджан... Ты... Ты предлагаешь мне вернуться к басмачам?.. Ты предлагаешь вернуться к ним, да?

Это было больнее, чем удар по лицу.

— Я скажу ему, что ты... что мы...

— Какой же ты низкий, Бекджан,— спокойно проговорила Гавхар. В глазах ее было презрение.— Что ж, иди к своему дяде! Торопись!..

Я резко встал и пошел.

Когда я сделал несколько шагов, услышал позади:

— Бекджан!

Я остановился, не в силах был ступить дальше. И не хотел обернуться. Потому что знал: если обернусь, снова последую за ней, как верный пес.

Сколько я так простоял — память моя не говорит ничего. Потом, когда я обернулся и хотел позвать ее,— увидел ее еле приметную фигурку уже далеко. Она взбиралась на бархан, измученная, но не сломленная. Я с тоской подумал, что она все же, наверно, дойдет, выйдет к реке. А я остался один среди песков...

Я побежал за ней, упал. Звал ее, я кричал ей что было сил. Она не обернулась. Мой голос был слаб, и не мне было одолеть безмолвие пустыни. Она меня не услышала.

Я с трудом поднялся, опустив голову, поплелся обратно — туда, где прошлой ночью убили Берды, где басмачи надругались над девушками... Чувства правоты не было в душе моей, я ненавидел себя...

Х

Я шел обратно, и, чтобы примирить мою совесть со случившимся и меня с самим собой, сознание мое увело меня в прошлое, память услужливо рисовала милые сердцу картины: вот наш сад — в кишлаке Чалыш, он был из самых красивых и богатых. Ветки деревьев гнутся под тяжестью плодов, посреди сада — виноградник, кисти огромные — с локоть, «буаки» и «чарас», за виноградником — бахча... А там, где наш сад примыкал к саду моего дяди Али, — десять деревьев моей любимой айвы. Мама тоже любила айву, варила из нее варенье... Эх, мама, мама... Что она видела, что получила хорошего от жизни? А отец мой? Он что получил? Копил деньги к старости, хотел хоть последние годы прожить в довольстве, хотел дать мне образование, оставить дом. Во всем отказывал себе ради этого. И что же — все отобрали, все, что накопил трудом, а заодно и жизнь... И мамину — тоже... А что взамен? Что получил я от Лойко, от большевиков? Убогую комнатуху в доме старой Султанпаши? Что я видел?.. Разве я должен защищать эту власть?

Так утешала меня моя память, отыскивая и подбирая объяснения, почему я вправе был повернуть назад...

К вечеру я добрался до колодца, откуда мы с Гавхар двинулись утром. Бросился скорей к настилу, споткнулся, упал и с трудом поднялся на колени. И так и застыл: ужас сковал меня — прямо перед собой увидел я небольшую пеструю змею — она подняла голову над песком и не шевелилась, только стеклянно блестели глаза.

«Вот она, смерть... — промелькнуло у меня в голове. — Отчего хотел уйти, к тому пришел... Видно, судьба... Это мне за Гавхар... Может быть, она умирает сейчас в песках...» Змея не шевелилась, но сама поза ее, напряженная, с поднятой головой, внушала мне такой страх, что я не смел дышать...

«Сейчас она бросится, — думал я, — примерится и... Куда она нацелилась?..»

Что делать? Может, мне самому броситься вперед, ударить ее ребром ладони по голове?.. Успею ли?.. Нет, конечно, змея быстрее...

Время шло, змея все не нападала, спину мою ломило от напряжения — сколько я так еще простою, полусогнувшись, на коленях?

И вдруг — я сначала подумал, что мне это чудится, — я услышал далекие голоса. Но я боялся отвести взгляд от змеи — она могла испугаться людей и броситься...

Холодный пот выступил у меня на лбу — я услышал, что голоса приближаются... Я так и не повернул головы, а змея не двинулась... Голоса смолкли, и вдруг — мне показалось, над самым моим ухом, — грохнул выстрел...

Я повалился без сознания, уткнулся лицом в песок.

Потом я чувствовал, что мне в рот льется вода... Я открыл глаза. Это Джапак пойл меня из фляги. Рядом стояли два красноармейца. Я поднялся. Змея валялась на песке, голова ее была разможжена пулей...

— Что, змея напугала? — Джапак весело улыбался мне.

— Да старая она, яду уже нет... — заметил один из красноармейцев..

Меня напоили, дали лепешку. А Джапак, пока я жевал, коротко объяснил, как они нашли меня. Оказывается, тогда, во время перестрелки, он сообразил, что басмачи осият нас и захватят, и нырнул в воду, отплыл, и в суматохе его никто не заметил... Он видел, как басмачи схватили нас, как погнали в глубь пустыни... Берегом добрался до кишлака, что миновали мы незадолго до нападения, оттуда сразу же сообщили о басмачах в ближайший горнизон... В погоню за бандой пошел кавалерийский эскадрон, утром их нашли. Часть банды была перебита, часть сдалась... Девушек и ребят из нашей группы успели спасти от верной гибели...

Тут только и обнаружилось, что мы с Гавхар бежали. Несколько конников были посланы искать нас. И вот — наконец нашли меня.

— А где Гавхар? — спросил Джапак.

Я не знал, что ответить. Джапак встревожился:

— Погибла?

— Нет... Она ушла...

— Ушла?! Куда? Как ты отпустил ее?!

— Она... пошла вперед... Я не мог... Я звал ее с собой...

Джапак молчал, молчали и оба красноармейца. Я не смел поднять голову.

— В какую сторону ушла? — изменившимся голосом спросил наконец Джапак. Я показал рукой направление.

Они, все трое, поднялись в седла, и Джапак бросил мне с высоты вниз:

— Трус несчастный! Увидишь ты теперь Москву!

Я не смел шевельнуться. Они ускакали.

И только тут я испугался. Ведь они отыщут Гавхар, и та расскажет им, куда я звал ее с собой!

Я поспешно поднялся и тронулся в путь. Объясняя, как меня искали, Джапак показал, в какой стороне река, и теперь я шел уверенно. Я спешил.

К ночи я добрался до Амударьи. Я хорошо умел плавать — вырос-то на берегу реки! — и легко достиг другого берега. Вдали мерцали огоньки селения. Я не боялся темноты — теперь она защищала меня, была моей заступницей... Только бы меня не нашли! Теперь я боялся встречи и со своими, и с басмачами.

И вот — незнакомый кишлак. Я постучался в дверь крайнего дома. Отворила старуха. Я попросил воды и кусок лепешки. Она сжалилась надо мной:

— На тебе лица нет, сынок! Где ты так намучился? Зайди в дом, я накормлю тебя.

Но я уже боялся всего — мне казалось, что за мной по пятам гонятся красноармейцы с Джапаком во главе, и я продолжал бежать — только преследователи сменились: вместо басмачей меня теперь ловили, как я думал, красноармейцы...

Я побоялся войти в дом сердобольной старухи, тогда она принесла мне воды и круглый хорезмский хлеб, совсем свежий... Я жадно выпил воду и впился зубами в хлеб... Старуха смотрела на меня с жалостью. Но в меня словно бес вселился, я уже не мог остановиться и, поблагодарив добрую хозяйку, зашагал дальше...

Справа от дороги что-то чернело. Мне показалось, что это скирда соломы. Так оно и было. Я сошел с дороги, огляделся и прислушался — тихо, никого, только от кишлака доносился лай собак... Я бросился на солому и сразу же провалился в сон...

К вечеру следующего дня я был уже в Ургенче и

стоял у ворот нашего дома, где жил когда-то, в далекой счастливой жизни, вместе с родителями и где умерли мои отец и мать...

Сейчас дом сделался чужим. Ворота были открыты, я вошел во двор и увидел, что на веранде мигает керосиновая лампа. Кто живет под нашей крышей?

Из комнаты моей мамы вышла какая-то старуха, заковыляла к огоньку на веранде, опустилась на тахту... Я не выдержал.

— Тетушка!

— Кто там, не вижу в темноте, подойди сюда!

Я поднялся на веранду.

— Заходи сынок,— приветливо пригласила старуха, встав навстречу.

Я решил притвориться, будто впервые вижу этот дом.

— Скажите, тетушка, здесь живет доктор Сафар?

— Эх, милый мой... Уж давно оставил он эту жизнь, мир праху его! Говорят, доброй души был человек. Да ты садись, не стой!

— Вы знали его?

— Нет, сынок... Рассказывал мне о нем один урус приезжий, сам из Хивы. Он-то и поселил меня с дочкой здесь,— говорит, сын Сафара в Москву уехал, учиться там будет долго, а вы живите пока, за домом смотрите... Вернется хозяин — переселим вас в новый дом... Так уж он хорошо говорит по-нашему, будто родился тут... А сам-то ты откуда будешь, сынок?

— Я из Чалыша, друзья мы с сыном доктора Сафара... Проведать хотел...

— Уехал он, сынок, уехал, пошли ему аллах удачи...— Старуха забормотала молитву, а я поднялся.— Куда ж ты, милый, сейчас чай вскипит!..

— Спасибо, тетушка, меня ждут. Мир вам!

Я вышел на улицу. Куда ж мне идти теперь? Значит, Лойко был прав, дом мне, можно сказать, вернули — старуху поселили здесь до моего возвращения... Но что мне теперь до моего дома — не жить мне в нем! Бежать, бежать — меня будут искать здесь! Я звал Гавхар назад, к басмачам, и там, с басмачами, мой дядя... Такого мне не простят! Возбужденный, я подогревал свой страх, и он гнал меня все дальше и дальше.

Я пошел куда глаза глядят, и, как и в прошлый раз, какая-то сила привела меня на кладбище. Но и здесь не

было мне покоя — одиночество и тишина царили кругом, и было тревожно, как в пустыне...

Я упал на могилу отца и дал волю слезам... Горькие это были слезы...

Я долго не мог успокоиться, и вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я поднял голову — могильщик. Услыхал, наверное, и подошел — хотя его-то рыданиями не удивишь...

— Не мучай себя, брат! Смерть у каждого в изголовье, с ней не поспоришь! И отца не вернешь!

— Ты знал его?..

— Твой дядя тоже приходил сюда.

— Давно?!

— Вчера. Поклонился могилам близких перед дальней дорогой.

— Он еще здесь?!

— Остановился в доме Джумабека.

Я бросился отыскивать дядю и нашел его без труда: могильщик дал верный адрес.

Мы проговорили до полуночи, то есть я рассказывал дяде обо всем, что случилось со мной за последние дни, расспрашивал, а дядя на бумажке царапал ответы. Оказалось, что басмачей действительно захватили и часть перебили в бою... Рахманкул-бек, тот самый, чернородый, что привозил от дяди письмо, — погиб. Самого дяди в ту ночь не было с басмачами, и это его спасло. Через два дня, с помощью верных людей, он отправляется вдоль Амударьи и в песках Каракумов перейдет границу.

— Хочешь, пойдем вместе в Иран. Там встретишь людей, знавших твоего отца. Большевики не тронули твое имущество, я его припрятал. Сможешь хорошо жить, будем торговать. Узбеки — торговый народ, я научу тебя, и дело пойдет — только соглашайся.

И я согласился... Зачем, от кого продолжал я свое бегство?.. И все же сделанного не воротить: через два дня мы покинули Ургенч и благополучно добрались до Ирана.

XI

— С той поры прошло сорок лет, — закончил свой рассказ старик. — Я не оправдываю себя, но я был наказан жизнью: человек, бросивший родину, носит нака-

зание в себе самом... На чужбине нельзя быть счастливым.

Сорок лет... Целая жизнь. Кажется, нет в этих краях города, где бы я не побывал, нет дела, за которое бы я не брался. Дядя мой был человек оборотистый и способный к торговле, мы жили хорошо. Но после смерти его я быстро разорился.

Кое-как существовал на то, что удалось спасти из наших денег. И вот теперь — пять лет уже в этом городе, служу на телеграфе. Иногда хожу наверх — слушаю, как играет бедная та женщина. Она ведь из Хорезма, мелодии ее — мне родные. Последняя ниточка...

Я понимаю, там все теперь по-другому, и домик наш в Ургенче, и сад в Чалыше не сохранились, наверное, но я закрываю глаза и вижу их такими, как оставил... Это — моя молодость... Увидеть бы ее напоследок — и ничего больше не просил бы я у жизни... Простите... я, наверное, утомил вас — рассказ мой, увы, не очень-то весел...

— А что стало с Гавхар? Вы так и не узнали?

— Представьте, знаю. Шесть лет назад, это в Каире еще было, встретил туристов-узбеков, и среди них были мои земляки... Я расспрашивал их о родине, о Хиве, об Ургенче... И один из них знал когда-то Гавхар! Я, конечно, ничего не сказал им о себе...

Да... так ее тоже нашли — видимо, одновременно со мной... Нашли и спасли... Позже она поехала в Москву, училась там и стала врачом. Семья у нее была, отыскала свое счастье...

Мы оба молчали, и старик грустно вертел в пальцах свою пустую чашечку из-под кофе. Я посмотрел на него, жалкого и опустошенного, и мне захотелось выйти на улицу. Старик, видно, почувствовал это.

— Простите меня... Увидел земляка — и вдруг захотелось рассказать о себе. Чтобы хоть кто-нибудь на родине знал, что я есть, что существую...

Он поднялся, поклонился молча и вышел.

Родина!.. Мирная и ласковая моя земля... Как представить жизнь без тебя! Как не глядеть с сыновней любовью в глаза твои! И если найдется человек, предавший тебя, — разве не будет похожа его жизнь на жизнь этого старика, одинокого и не нужного никому? Разве может быть счастливым человек без родины?

ОВЦЫ ХАЙДАРАЛИ

Солнце оранжевым ломтиком дыни только еще поднялось над горизонтом, а старик уже добрался до райцентра. То ли рано еще было для большой толпы, то ли наступившие холода удержали людей дома, но сегодня не было слышно шума и нестройного гомона, обычных здесь в базарные дни.

Старый Сарсанбай остался этим доволен: «Не опоздал, слава богу. В разгар базара кого найдешь?»

Он тронул повод. Пегая кобылица, отдохавшая опустив уши, будто ждала, встрепенулась и мелкой рысью пошла к реке. Дорогу она знала так же хорошо, как и хозяин. С тех пор, как помнит она себя под седлом, добирается сюда каждое воскресенье, проходя весь Гиссар, а конец пути — у ветхой чайханы над узеньким деревянным мостом. Много лет назад весеннее половодье как-то размыло здесь все, и, когда вода спала, осталась широкая песчаная отмель, и берег сделался пологим и низким. И с тех пор с ранней весны до поздней осени каждый год собирается у моста, гудит, дымит жаровнями, звенит наковальнями, оглушает пестротой красок районный базар. И раз уж собираться у реки стало привычным для жителей этих мест, парни из окрестных кишлаков уходили на фронт тоже отсюда. Убогая чайхана с догнившими и обернутыми кусками толя столбами — память тех лет. Когда пегая кобыла была еще молодой и шустрой, старик привязывал ее к одному из этих столбов; сам же бродил по базару, потом дотемна просиживал в чайхане. Базар клубился, жил, расходился, читал полуденную молитву и возвра-

шался. Пегая кобыла долго не могла привыкнуть к шуму и движению, несколько раз, оборвав привязь, убежала и тем доставляла множество хлопот занятому базарному люду. Однажды она даже стала, уперлась на полдороге и не пошла дальше, пока не отведала плети. Но все это было так давно, в молодости, что она и сама позабыла.... Теперь она смирилась. Старому Сарсанбаю уже не нужно привязывать ее, пегая сама подходит к знакомому столбу. Старик прямо из седла слезает на супу под навесом, лошадь закрывает глаза и долго стоит не шелохнувшись.

Так было и сегодня. Старик сполз с седла, зашел в чайхану. Старый Сарсанбай опустил на колени возле разбитого окна — это было его место с тех пор, как поставили здесь чайхану, и если оно даже бывало занято, то с появлением старика немедленно освобождалось. Отсюда как на ладони видна базарная площадь и заметен каждый проходящий по мосту человек.

— А, Сарсанбай, жив-здоров как?— приветствовал старика чайханщик, подавая чайник и пиалу.— Снова к нам?

— Обуза я тебе, что ли?— проворчал старик, хмурия выгоревшие брови.

— Не бурчи, не бурчи... Жалею тебя — не видишь? Сам знаю, хуже ожидания нет ничего.

Сарсанбай не ответил. С утра у него было легко на душе, как перед исполнением желания, а тут слова приятеля испортили настроение. Хотел было даже обругать его: «Тебе-то что за дело, знай разноси свой чай!»— хорошо, язык не повернулся. В словах чайханщика Мадумара был понятный им двойм смысл.

Давно это было. Получив похоронную на сына, Мадумар не поверил, ждал десять лет. Не зная об извещении жена его сгорела от ожидания, умерла. Сам согнулся, высох, как щепка. И в конце концов не выдержал, потерял надежду, смирился с утратой. Единственное его занятие сейчас — чайхана.

И все-таки сказанное Мадумаром обидело старика. «Жалею тебя». Неужели он дожид до такого, сделался жалким? Сердце сжалось, горький комок подступил к горлу, и, не желая показаться слабым, Сарсанбай грубо огрызнулся:

— Вот дурной на мою голову..., Ну и жду — так те-

бя, что ли? Кому ты нужен, кроме Азраила? С каких это пор ты взялся учить меня уму-разуму?

— Не ворчи,— улыбнулся миролюбиво Мадумар.— Что я, не понимаю? Только поверь, каждый базарный день тошнить начинается, вот как увижу твою рожу надоевшую, так хоть спасайся. Сидел бы на пастбище, пас бы своих овец, понадобись кому — сам найдет... Как бы ты, старый черт, по дороге где-нибудь ноги не протянул!

— Ну уж это не твоя забота, найдется кому схоронить!— Старик уже овладел собой.— Да и упаси боже от чайханщика. Греющий руки на чае и от савана пользуется!

— Так бы и сказал сразу, старый. Только что заварил, на, залей свою злость.

Чайханщик Мадумар налил в пиалу свежего чаю и подал другу, сам присел рядом.

— Ничего не узнал?— спросил уже серьезно Сарсанбай.

— Узнал бы — послал к тебе человека.

Оба помолчали, и Мадумар, почувствовав неловкость, шумно отхлебнул из своей пиалы и спросил:

— Как Зеби, здорова?

— Ничего, не жалуется...— Сарсанбай смотрел в окно.— Еле отпустила сегодня. Узнала, что собрался сюда, в полночь отогнала кобылу на пастбище.

— Не разругал ее? Знаю я тебя...

— Нет. Ей тоже нелегко. Теперь уже не браню.

— Не надо... У нее ведь никого, кроме тебя.

— Да нет, только...— Сарсанбай рассмеялся старческим дробным смешком.— Не ругаю, но зачем она отогнала кобылу? Ведь знает, хоть пешком, а пойду. Да и кобыла прибежит ко мне, только кашель мой услышит. Все знает старуха и отогнала... Зачем?

— Наверное, жалеет тебя,— Мадумар попытался рассмеяться.

Сарсанбай был серьезен.

— Думаешь, мне ее не жалко? Одиночество — не сладкая штука. Да ты и сам все знаешь. Но что мне делать? Это такой долг, который должен быть уплачен,— и все тут. Не могу же я взять его с собой в могилу. Она должна это понять. И еще...

— Ассалам алейкум...

В чайхану вошли люди, разговор прервался. Мадумар поспешил к своим чайникам.

Вскоре людской гомон, детский плач, мычание коров слились с выкриками торговцев и возмутили тишину утра,— будто горный поток влился в спокойные воды реки.

Старый Сарсанбай видел сквозь окно — ветхий мостик покачивался под ногами множества людей, как верблюды на ходу.

И в те дни покачивался так же... И когда провожал сына, и когда провожал Хайдарали...

Но только тогда люди шли все в одну сторону, и многие, очень многие не прошли по старому мосту обратно. Кто погиб, кто пропал без вести... От сына полгода не было писем, потом пришло... Он хорошо все помнит — в тот день был со стадом в Узумли, отогнал овец за реку, там на возвышенности только-только пробивалась поздняя трава, и — полдень как раз подошел — стал было доставать из сумки сузьму... И тут от кишлака донесся плач и, отдавшись в горах, вернулся таким громким, что он вздрогнул, почуяв неладное. Поднялся, посмотрел вниз. Увидел — женщина с распущенными волосами кричала, царапая себе лицо, бежала вдоль реки, приближалась. Он вначале не узнал ее, спустился ниже, и тут разглядел синее знакомое платье, и невольно попятился. Увидев его, Зеби зарыдала. «Гафур, Гафур...» — она не могла говорить и, всхлипывая, протянула мужу бумагу. Увидев синий бланк, он понял все. Мадумар тоже получил такое письмо...

Сарсанбай не плакал, только похолодели руки и ноги, застыл на месте. Единственного сына даровал ему бог — и этого отнял.

... А Хайдарали, товарищ Гафура, ушел скоро после своего отца, ушел — и пропал без вести. Сарсанбай сам провожал до старого моста товарища своего сына, больше некому было его провожать. Откуда они с отцом пришли в кишлак, так и не узнал Сарсанбай. Помнил только — дружили они с Гафуром, и было достаточно...

В день отъезда Хайдарали привез ему в телеге двух овец. Тогда ровно месяц исполнился, как получил Сарсанбай извещение о сыне...

— Ата, хочу оставить вам,— сказал, смущаясь, Хайдарали.— Может, мой отец раньше меня вернется — зарезали бы их, погуляли, а? Если вас не затруднит...

— Ладно, сынок,— сказал тогда Сарсанбай.— Пусть ходят в стаде. Какие могут быть затруднения?..

На ветхом мосту прощался он с Хайдарали, как с родным сыном, дрожало сердце.

— Дай тебе бог уцелеть, сынок...— И, чтобы скрыть внезапно выступившие слезы, Сарсанбай к самому лицу поднял собранный женой узелок и уж потом протянул Хайдарали:— Возьми, Зеби на дорогу приготовила... Сможешь — навести могилу Гафура... В Сталинграде.

В шуме толпы и прощальном плаче услышал ли Хайдарали эти слова? Сарсанбай не знает, помнит только, как что-то говорил юноша и кивал головой...

Ушли с того дня, с того прощания двадцать пять лет, четверть века. Постарел, ослаб Сарсанбай, а сын его Гафур и названный сын Хайдарали так и остались в его памяти молодыми, сильными парнями. От Хайдарали так и не было никаких известий, и отец его тоже не вернулся. Оставленные Сарсанбаю две овцы разрослись в стадо в сорок голов, и, чтобы не смешивать их с общественными, чтобы с легкостью найти, когда вернется и спросит их хозяин, Сарсанбай каждой повязал на шею красный лоскут.

Но хозяин все не приходил. Жив ли он, мертв ли — никто не мог сказать. Ходил Сарсанбай по учреждениям, расспрашивал людей — но легко ли найти человека, если не знаешь ни фамилии, ни адреса.

Когда вдруг его Мадумар справил поминки по сыну, кто-то из гостей дал Сарсанбаю совет: «Брось ходить понапрасну, Сарсанбай, не изводи себя. Да и человек, вернувшийся из ада, станет ли разыскивать, вспомнит ли двух овец? Слава богу, голода нет, на базаре овец полно. Если уж ходить — пойди лучше всего на базар. Жив он — найдешь его там». Совет этот пришелся Сарсанбаю по душе, и с тех пор он не пропускает ни одного базара. А обычные дни он бродит со своим стадом от пастбища к пастбищу и усталый возвращается в конце недели домой.

Сколько раз уже председатель говорил ему: «Хватит вам, отец, работать, пусть молодые потрудятся», но старик не согласен. Как же можно согласиться — ведь все равно надо пасти стадо Хайдарали! Кто станет ходить за овцами чужака? А коли и будет пасти — так как пасти, чабан чабану рознь!

Но старость брала свое. Раньше, бывало, неделю на ногах — и не устанешь, а теперь и в полдня так умаешься, что ищешь, где бы присесть, а ведь пасет он сейчас всего лишь те самые сорок овец, — не то что прежде большое стадо колхоза.

Однажды он устало присел на склоне холма, и вдруг услышал выстрел внизу и, опасаясь за своих овец, поспешил спуститься.

Под кустами арчи расположились четверо парней; стреляли они по бутылке, поставленной на камень.

Увидев Сарсанбая, один из парней пожаловался: — Что это, дед, небось вы перестреляли всех кекликов здесь? Черт возьми, ни одного не видно!

— Охота на кекликов хороша зимой. Поохотиться приехали?

— Да, слышали, водятся здесь кеклики, — но вот не повезло.

— Водятся, правда, а много их — зимой. Сейчас только время потратите.

— Слушай, дед, — с пьяной развязностью пригласили из-под арчи, — дав-вай сюда, хлебни-ка с нами... — Второй парень наполнил пиалу водкой и протянул старику.

— Не пью, сынок, — старик улыбнулся парням, — сроду в рот не брал...

— Да и-ну, хоть раз попробуйте... Дело есть... — угощавший с усилием поднялся и, пошатываясь, подошел к старику. — Выпейте с нами, ну...

— Не пью! — старик отвел руку с пиалой. — Так что за дело, говорите.

— Эй ты, не приставай к деду, — вмешался один из стрелявших.

— Р-аз так, в-выпью сам. — Опорожнив пиалу, парень коротко выдохнул в рукав. — Слуш-шай, дед... дед, мы приехали охотиться. Нет... Мы приехали погулять... Продайте одного барана... сообразим вам... Ну?..

Сарсанбай помолчал, улыбнулся, словно хотел извиниться:

— Вот ведь жалость-то какая, сынок, не могу продать, что поделаешь... Не мои это овцы, да... В кишлак спуститесь, там в любом дворе купите, хоть у меня в доме... А здесь — не могу, это чужое... Поверьте, не пожалел бы для вас...

— Да ну, дед, брось заливать-то!

— Правда, сынок.

— А если мы сейчас сами одну поймаем? — парень оскалил в усмешке зубы.

— Не годится так, сынок, говорю вам — чужие овцы.

— Ну и жаден дед, смотри — баран дороже человека! — Парень рассердился. — Эй, Акбар!

— Чего тебе? — поднялся еще один, совсем подросток.

— Пошли, поймаем сами... С председателем потом договоримся...

Двое направились к стаду.

— Стой! — закричал старик. — Где ваша совесть! Говорю вам — чужие, значит, так! У овец этих нет хозяина, пропал без вести на фронте, двадцать пять лет их пасу, вы что делаете?

Парни остановились, потом повернули обратно.

— Ты прости, отец, не знали мы, — сказал кто-то.

Сарсанбай молчал, губы его подрагивали.

— Извини, отец...

Старик не отозвался. Потом медленно вернулся к стаду.

В базарный день в чайхане он с горечью рассказал обо всем Мадумару. Чайханщик задумался, потом ответил:

— Скажу тебе, коли не обидишься... Знаешь, овец этих отдай ты в колхоз. Не мучайся. Что за разница — у тебя ли, в колхозе ли... Явится твой Хайдарали, получит их из колхоза целехонькими.

Старый Сарсанбай не ответил тогда. И сейчас, разглядывая базар, мост и людей, торопящихся по неотложным своим делам, он думал о словах друга и все еще не находил ответа.

Солнце стояло уже в зените, базар пустел помаленьку, оставались у моста только не сбывшие еще

свой товар да празднующийся люд. Хорошее расположение духа, с которым ступил Сарсанбай утром под навес чайханы, ушло, будто унес его поток людей. Значит, Хайдарали он не встретил и сегодня. Так что же — погиб он? Послушаться Мадумара и сидеть дома? Нет, нет — столько смерти было... слишком много, чтобы добавить и еще одну... А поверишь, что не вернется, — будто сам и добавил... Да и сколько пропавших без вести вернулось... Хотел овцами этими людей угостить...

И я бы посидел среди гостей. Сам бы и устроил это угощение, вернись только, названный сын мой, Хайдарали!

Думая так и представляя возвращение Хайдарали, старик просидел у окна еще сколько-то времени, а когда очнулся, увидел, что базар сегодняшней закончился уже, все разошлись; от очага в глубине чайханы доносился аппетитный запах плова. Но старик все не хотел уходить.

— Сарсанбай! — Возле него стоял чайханщик Мадумар. — Будет тебе, сделай, как я сказал. Изведешь себя ожиданием.

Старик не отозвался. Потом повернулся, вытащил из-за голенища потертый рубль и кинул на блюдо. Поднялся.

— Уходишь? Плов готов. Поешь перед дорогой.

— Как-нибудь в другой раз. — Сарсанбай направился к двери. — Будь здоров...

Выйдя во двор, старик задержался, будто что-то припоминая, и вернулся в чайхану.

— Неужели и ты не понимаешь, Мадумар-ака? Он оставил их мне, и я должен сам хранить и вернуть их... Ты видишь, у него есть дом и овцы, ему есть за чем прийти... Часть его жизни здесь, и она не остановилась... Он живой здесь... Пока ждут его...

Мадумар промолчал. Только когда друг ступил на порог, сказал вслед:

— Кланяйся Зеби.

Покрывшаяся на морозце инеем пегая кобыла, увидев хозяина, тряхнула, ласкаясь, головой, подалась к ступенькам. Старик неожиданно легко поднялся в седло и подобрал повод.

— Тронулись.

Кобыла бодрой рысью направилась к дому. Она знала, что возвращается домой, и в радости возвращения не думала о том, что много раз еще придется ей приходить сюда, к чайхане, неся на своей старой спине старого хозяина и его неоплаченный долг.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРЕЧА У ВЫСОКИХ СНЕГОВ. Повесть.	. . .	5
ПУСТЫНЯ. Повесть.	'	71
ОВЦЫ ХАЙДАРАЛИ. Рассказ.	133

Умарбеков У. Р.

У—52 Встреча у высоких снегов: Повести/Авториз.
пер. с узб. С. Шевелёва.— Т.: Ёш гвардия, 1988.—
144 с., (1) л. портр.

Уз2

Перевод с узбекского

Ульмас Рахимбекович Умарбеков

ВСТРЕЧА У ВЫСОКИХ СНЕГОВ

Повести и рассказ

ИБ 2375

Ответственный за выпуск **И. Баранова**

Художник **Р. Зуфаров**

Художественный редактор **Н. Абдуллаев**

Технический редактор **В. Демченко**

Корректор **З. Наджатова**

Сдано в набор 29.04.88. Подписано в печать 20.07.88.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уч.-изд. л. 7,66. Усл. печ. л. 7,56.

Усл. кр. отт. 7,98. Печ. л. 4,5. Договор 23—88.

Заказ № 3658. Тираж 40000. Цена 50 к.

Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия».

700113, Ташкент, Чиланзар, квартал 8,

ул. газеты «Правда», 60.

Ордена Трудового Красного Знамени типография

Издательства ЦК КП Узбекистана, г. Ташкент,

ул. Ленина, 41.

у 4702570200—78 39—88 ISBN 5—633—00039—0
356 (04)—88

Публикуется по изданию: У. Умарбеков. «Золотые листья».
Москва, «Советский писатель», 1973.

© Издательство «Еш гвардия», 1988 г.
Оформление.